Сергѣй Рафаловичъ

НА ВѢСАХЪ СПРАВЕДЛИВОСТИ

DUKE
UNIVERSITY

LIBRARY

Сергѣй Рафаловичъ

НА ВѢСАХЪ СПРАВЕДЛИВОСТИ

(КОММЕНТАРІЙ КЪ РОМАНУ).

ИЗД. «ШИПОВНИКЪ», СПБ.
1909.

Типографія Министерства Путей Сообщенія
(Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К⁰), Фонтанка, 117.

891.73

Не тотъ же ли, кто сотворилъ внѣшнее, сотворилъ и внутреннее?

(Лука 11, 40).

Не придетъ Царствіе Божіе примѣтнымъ образомъ и не скажутъ: вотъ оно здѣсь или: вотъ тамъ. Ибо вотъ Царствіе Божіе внутрь васъ есть.

(Лука 17, 20, 21).

Двѣ вещи наполняютъ душу все новымъ, все возрастающимъ изумленіемъ и благоговѣніемъ, по мѣрѣ того, какъ размышленіе чаще и продолжительнѣе останавливается на нихъ: звѣздное небо надо мной и нравственный законъ во мнѣ. *Кантъ.*

Ты подобенъ Духу, котораго ты постигаешь. *Гёте.*

Digitized by the Internet Archive
in 2020 with funding from
Duke University Libraries

https://archive.org/details/naviesakhspraved01rafa

НА ВѢСАХЪ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

(Комментарій къ роману).

— Правосудіе...

— Вы въ него вѣрите?

— Оно необходимо и неизбѣжно.

— Вы смѣшиваете правосудіе съ судомъ.

— Суды дѣйствуютъ во имя правосудія.

— Какъ войны ведутся ради мира.

— Вы отрицаете правосудіе?

— Вамъ пришлось судить двухъ убійцъ?

— Мужчину и женщину.

— Оба убили изъ ревности?

— Два убійства на почвѣ страсти.

— Вы оправдали одного о осудили другую?

— Позвольте... Надо различать...

— Мотивы были тождественны и результаты также.

— Очевидно. Но дѣло не въ нихъ, а въ личностяхъ преступниковъ.

— Мужчина и женщина...

— Какъ вамъ не стыдно? Я стою за равноправіе. Полъ здѣсь не игралъ никакой роли.

— Вы же сами говорите: два убійства на почвѣ страсти... Страсти — понимаете ли вы? И вдругъ: полъ не игралъ никакой роли.

— Если вы намѣрены издѣваться надо мной... Я имѣю въ виду не преступленіе, а приговоръ.

— Ихъ было два.

— Такъ что же?

— Не находите ли вы, что они слегка противорѣчатъ другъ другу?

— Это лишь для поверхностнаго наблюдателя.

— Объясните.

— Убійца — мужчина былъ человѣкомъ весьма почтеннымъ, честнымъ, съ незапятнанной репутаціей и безупречнымъ прошлымъ. Онъ убилъ свою жену въ порывѣ слѣпой ревности, заставъ ее въ объятіяхъ любовника. Мы его оправдали, какъ въ Крейцеровой сонатѣ присяжные оправдали Позднышева.

— Вы забываете, что признаніе Позднышева, записанное авторомъ Крейцеровой сонаты послѣ суда, проливаетъ иной свѣтъ на его поступокъ, такъ что, будь оно извѣстно судьямъ, они едва ли бы оправдали убійцу.

— Признаніе Позднышева есть въ сущности лишь точка зрѣнія Толстого, который произнесъ горячую проповѣдь противъ современнаго общественнаго строя. Если Толстой правъ, то индивидуальная вина Позднышева не усиливается, а скорѣе ослабляется. Нельзя же его обвинять за всеобщій грѣхъ и на немъ одномъ вымещать всю неправильность, лживость, преступность тѣхъ общихъ мнѣній, привычекъ и дѣяній, которыя были ему навязаны съ дѣтства и густой сѣтью опутали его.

— Пусть такъ. Противъ снисходительности я ничего не имѣю. Но почему же вы осудили женщину?

— Она была проститутка.

— Это вы серьезно?

— Вы удивляетесь? Да неужто вы не понимаете, что противъ нея говорило ея прошлое, весь образъ ея жизни, ея ремесло и, конечно, болѣе всего, та очевидная испорченность, безъ которой женщина не дѣлается проституткой?

— Слѣдовательно, вы ее осудили не за убійство, а за проституцію?

— И за то и за другое.

— Такъ вы думаете. Но вы не логичны. Если бы вы осуждали за убійство, вы осудили бы перваго убійцу. Но этого вы не сдѣлали. А между тѣмъ за такое же, за то же убійство, вы осудили проститутку. Очевидно, что вы осудили ее не за убійство, а за то, что она проститутка. И такимъ образомъ ваше кажущееся правосудіе прикрываетъ высшую несправедливость и даже высшее беззаконіе. По какому праву поставили вы ей въ вину то, что законъ допускаетъ; и не только поставили въ вину, но и покарали за это? Или вы забыли, что проститутка находится подъ надзоромъ и подъ опекой государства, что оффиціальная проституція есть государственное учрежденіе и что если ее считаютъ зломъ, то зломъ узаконеннымъ и наименьшимъ и поэтому воюютъ не противъ нея, а лишь противъ нежелательныхъ ея формъ, т.-е. противъ безконтрольной, свободной и неподчиняющейся государству? А въ такомъ случаѣ...

— Да подождите вы... Ничего я не забылъ; все я отлично помню и знаю. Но дѣло-то вовсе не въ этомъ. Законна или незаконна проституція — не все ли равно? Никакая оффиціальная регламентація не заставитъ уважать проституцію, даже не уменьшитъ презрѣнія, съ которымъ всякій порядочный человѣкъ относится къ ней и долженъ къ ней относиться. Съ точки зрѣнія нравственности проституція — явленіе отрицательное и...

— И проститутка также. И я начинаю понимать ту логическую цѣль, которая васъ привела къ двумъ различнымъ приговорамъ. Когда вы стоите передъ преступникомъ, сознавшимся или уличеннымъ въ преступленіи, и вамъ надлежитъ рѣшить его судьбу, вы задаете себѣ вопросъ: порядочный онъ человѣкъ или непорядочный? Въ первомъ случаѣ вы прощаете случайную вину, во-второмъ — за нее осуждаете, считая ее неслучайной. Правъ я или нѣтъ?

— Вы преувеличиваете, но приблизительно такъ мы и разсуждали.

— Вотъ видите... А подумали вы, что ея вина тоже могла быть случайной, непреднамѣренной и, вѣроятно, даже была такой? Подумали вы о томъ, что такое общее разрѣшеніе вопроса можетъ въ каждомъ частномъ случаѣ быть донельзя ошибочнымъ и потому несправедливымъ? Можетъ быть осужденная вами женщина была безобиднѣйшимъ существомъ, и ея профессія вредила только ей и заставляла страдать только ее. Однимъ словомъ, и чтобы не повторять азбучныхъ истинъ, вспомнили вы о томъ, что даже строгій моралистъ Толстой не Катюшу Маслову обвиняетъ за то, чѣмъ она стала, не говоря уже о Дюма, и его патетической защитѣ куртизанки?

— И объ этомъ я думалъ не разъ. И совершенно расхожусь съ вами въ выводахъ. Мнѣ прежде всего кажется громадной ошибкой сопоставлять „Воскресеніе“ и „Даму съ камеліями“. Толстой лишній разъ поднялъ два вопроса: вопросъ внутренней этики и вопросъ внѣшней отвѣтственности, причемъ первому даетъ субъективное разрѣшеніе, а второму объективное, но подчиняетъ его первому. Вовсе не оправдывая проституціи и проститутокъ — укажите мнѣ на милость, гдѣ онъ ихъ оправдываетъ — онъ лишь перенесъ часть отвѣтственности, — можетъ быть очень значительную, — на тѣхъ, кто ими пользуется, или даже имъ способствуетъ. Но Маслову все-таки осудили и центръ тяжести романа вовсе не въ оправданіи Масловой, а въ этическомъ преображеніи Нехлюдова. И по-моему отношеніе Толстого къ нимъ исчерпывается слѣдующей формулой: „невинная въ убійствѣ, Маслова все же „падшая женщина“; но дѣло не въ этомъ, а въ общемъ состояніи современной нравственности среди тѣхъ, кто вырабатываетъ ее и навязываетъ остальнымъ; т.-е. среди мужчинъ интелигентнаго, чтобы не сказать высшаго класса“.

И я полагаю, что при судебномъ разборѣ опредѣленнаго преступленія на Толстого ссылаться нечего.

Что же касается Александра Дюма, — и сколькихъ послѣ него — то его „Дама съ камеліями“, имѣвшая огромное вліяніе, мнѣ кажется, именно вслѣдствіе этого вліянія, произведеніемъ безусловно отрицательнымъ, даже преступнымъ.

— Если бы Дюма былъ живъ, вы бы ему вручили обвинительный актъ?

— Всякій, даже умершій, писатель живъ, поскольку его произведенія не забыты, и мы имѣемъ право выступать противъ него, ополчаясь противъ произведеній, подъ которыми красуется его подпись. Умеръ онъ или живъ — мы почтимъ его, вѣря, qu'il fera honneur-á sa signature.

— Но вамъ то онъ не сдѣлаетъ чести оправдываться и возражать?

— Найдутся защитники: и можетъ быть вы сами...

— Какъ знать...

— Вотъ видите. И съ тѣмъ большей силой я повторяю, что „Дама съ камеліями“ — произведеніе безнравственное и преступное. Я, конечно, не отрицаю художественныхъ достоинствъ его, искренности молодого автора и фактической возможности разсказаннаго имъ случая. Онъ очень правдоподобенъ и смѣшно было бы утверждать, что не бываетъ среди куртизанокъ такихъ женщинъ, какой Дюма изобразилъ Маргариту. Можетъ быть даже онъ лично не сдѣлалъ никакого вывода, никакихъ обобщеній. Это предположеніе тѣмъ болѣе вѣроятно, что въ слѣдующей своей пьесѣ, въ „Полусвѣтѣ“, онъ рѣзко подчеркнулъ свое осужденіе того переворота въ общественномъ мнѣніи, вслѣдствіе котораго куртизанка, лишенная до того правъ гражданства, пріобрѣла и признаніе и почетъ и стало возможно образованіе того „полусвѣта“, самое наименованіе котораго есть какъ бы гражданскій документъ, метрика, или даже дворянская грамота. Однако, несомнѣнно, что эти обобщенія были сдѣланы, если не всѣми, то большинствомъ, и въ этомъ я и усматриваю вредное вліяніе „Дамы съ камеліями“. Не было бы вообще

безнравственныхъ и вредныхъ книгъ, если бы не эта склонность къ обобщеніямъ среди читателей.

Всякій человѣкъ со здравымъ смысломъ долженъ былъ бы разсудить такъ: Маргарита Готье симпатична, и ее, конечно, можно пожалѣть. Среди проститутокъ она является одною изъ рѣдкихъ — вѣроятно, все же не единственной — кому не чужды благородные порывы и искреннія чувства. Но изъ этого лишь слѣдуетъ, что она была немного лучше другихъ и достойна поэтому большаго снисхожденія. Нѣтъ, однако, никакихъ основаній сравнивать ее—не съ проститутками, къ категоріи которыхъ она все же относится,—а со всѣми женщинами вообще. Отъ такого сравненія она только потеряла бы, и авторъ нигдѣ на него и не намекнулъ. А между тѣмъ большинство читателей и зрителей такъ именно и поступаютъ, забываютъ, что Маргарита куртизанка и видятъ въ ней просто женщину. Они не понимаютъ, что при такой постановкѣ вопроса уничтожается вся драма, весь ея паѳосъ и извращаются цѣнность отдѣльныхъ личностей, цѣнность столкновеній и художественная правда и неизбѣжность развязки. И доказательствомъ правоты моего утвержденія послужитъ вамъ признаніе всякаго искренняго зрителя, что всѣ дѣйствующія лица, кромѣ Маргариты, ему несимпатичны— и Арманъ Дюваль, и его отецъ, рѣшительно всѣ — и что онъ не придаетъ ни малѣйшаго значенія образу мыслей, чувствамъ и нравственнымъ принципамъ послѣдняго, что онъ даже ихъ не видитъ, несмотря на то, что въ жизни вполнѣ раздѣляетъ ихъ.

Такимъ образомъ силой своего таланта Дюма добился не большей справедливости, а лишь самообмана, не снисходительности на почвѣ строгой нравственности, а лишь усыпленія нравственнаго чувства, такъ какъ зритель временно или навсегда отказывается отъ своей морали—не ради другой, которой авторъ не проповѣдуетъ и зритель не ищетъ,—а только подчиняясь обаянію живого аргумента, отрицающаго

существующую мораль. Если это обаяніе потеряетъ свою силу послѣ окончанія спектакля, то лишь ослабнетъ прежняя твердость нравственнаго взгляда зрителя. Если оно сохранитъ свою силу и дальше, то крѣпость его нравственности должна рушиться окончательно. Маргарита Готье лучше другихъ и намъ симпатична. Научимся же быть справедливыми и оцѣнивать по достоинству и хорошее въ томъ, въ комъ мы слишкомъ охотно замѣчаемъ только дурное. Но не станемъ впадать въ противоположную крайность, замѣчать только хорошее и закрывать глаза на все дурное, что неизмѣнно существуетъ и должно быть оцѣнено тоже по достоинству. Не откажемъ въ сочувствіи и нѣкоторомъ уваженіи Маргаритѣ за ея безкорыстную любовь и жертву, помня, что суть проституціи отъ этого не мѣняется и что она все-таки и несмотря на эту любовь и жертву — проститутка, чувствуетъ и дѣйствуетъ какъ проститутка со всѣми другими.

Не я одинъ держусь такого мнѣнія. И если русскій переводчикъ „Дамы съ камеліями“ озаглавилъ свой переводъ: „Какъ проживешь, такъ и прослывешь“, то онъ, очевидно, этой поговоркой хотѣлъ рядомъ со своимъ сочувствіемъ къ Маргаритѣ выразить иное чувство, которое побуждало его оправдать кажущуюся несправедливость ея страданій и ея гибели.

Я надѣюсь, что вы теперь поняли, почему мы осудили проститутку, и признаете, что ни непослѣдовательности, ни нелогичности, а тѣмъ менѣе легкомыслія не было въ мотивахъ, заставившихъ насъ осудить ее, оправдавъ другого убійцу.

Да, я понялъ вашъ образъ мыслей и ваше отношеніе къ обоимъ преступникамъ. И готовъ признать, что по своему вы и послѣдовательны, и логичны. Но правы ли вы? Этого вопроса я вамъ не поставлю, потому что отвѣтить на него долженъ я самъ, и отвѣтъ мой будетъ и длиннымъ и сложнымъ. И на словахъ для меня было бы невозможно изложить все съ той ясностью и точностью, которыя необходимы, и невозможно было бы для васъ выслушать внимательно длинную повѣсть, не уставая, вникая во всѣ подробности и слѣдя за всѣми изгибами моихъ разсужденій.

Я не вѣрю въ эти устныя признанія, исповѣди и разоблаченія, которыми изобилуетъ литература. Я не вѣрю въ возможность на словахъ изложить сложныя событія жизни, если центръ тяжести не во внѣшнихъ перипетіяхъ, а во внутреннихъ переживаніяхъ, ощущеніяхъ и разсужденіяхъ. И мнѣ кажется, что писатели, заставляющіе своихъ героевъ разсказывать друзьямъ длинную психологическую драму, пережитую ими, обнаруживаютъ не только свое безсиліе справиться съ техническимъ построеніемъ задуманнаго произведенія, но въ еще большей мѣрѣ близорукость и поверхностность своей наблюдательности, скрывающія отъ нихъ всю неестественность, неправдоподобность и даже невозможность такихъ признаній.

Не ища далеко я вамъ укажу на ближайшій намъ и очень значительный примѣръ: на Крейцерову сонату. Позднышевъ могъ бы, конечно, разсказать своему собесѣднику преступленіе, совершенное имъ. Этотъ разсказъ не былъ бы

ни особенно длиннымъ, ни слишкомъ безсвязнымъ, посколько Позднышевъ пытался бы возстановить внѣшнюю послѣдовательность событій. Я тѣмъ не менѣе сомнѣваюсь въ его полнотѣ и значительности. Но возстановить внутреннюю, психологическую, сложную, запутанную, едва уловимую преемственность переживаній, мыслей и чувствъ и связать ихъ въ одну, единую, непрерывающуюся нить—это выше силъ человѣческихъ. Этого не можетъ человѣкъ, впервые пытающійся довѣрить словамъ весь хаосъ, въ которомъ онъ мысленно началъ разбираться. И несмотря на весь талантъ Толстого, я не вѣрю, я не могу заставить себя повѣрить ему, что онъ записалъ слова Позднышева, а не собственныя свои мысли и мнѣнія, и мнѣ все время мѣшаетъ это невѣріе. Если бы Толстой говорилъ отъ себя, если бы онъ притворился, что печатаетъ записки Позднышева, ничто не нарушило бы моей иллюзіи и моего вниманія. Но какъ только я представляю себѣ, что говоритъ Позднышевъ, что говоритъ въ темномъ вагонѣ съ чужимъ человѣкомъ, говоритъ часами, что каждое слово его, прозвучавъ, исчезаетъ безслѣдно, что нѣтъ у него путеводной нити, чтобы выбраться изъ лабиринта собственной души, что каждая новая мысль, отвлекшая его въ сторону, сбиваетъ его на новый путь, и не можетъ онъ выбраться на прежній, такъ какъ некуда ему возвращаться и негдѣ искать той точки, съ которой онъ незамѣтно свернулъ въ сторону,—каждый разъ я ощущаю ложь того, что Толстой мнѣ навязываетъ, и отказываюсь вѣрить тому, что я читаю, такъ какъ не могу вѣрить ни тѣмъ обстоятельствамъ, при которыхъ это было разсказано, ни самой формѣ разсказа. Съ необычайной ясностью я замѣчаю всѣ усилія автора придать правдоподобіе вымышленнымъ условіямъ встрѣчи и разговора, вижу все искусство его, направленное на поддержаніе во мнѣ иллюзіи, и ощущаю искусственность и фальшь пріемовъ и стараній. Подобно тому, какъ въ театрѣ отсутствіе декорацій не такъ

мѣшаетъ, какъ неудачныя декораціи, и отсутствіе грима не такъ замѣтно, какъ неумѣлое его примѣненіе.

Я, конечно, сознаю, что это до нѣкоторой степени лишь вопросъ условностей, мѣняющихся почти съ каждымъ поколѣніемъ и что нѣтъ условностей абсолютныхъ, ни вѣчныхъ. Я прекрасно понимаю, что нельзя поэтому считать ихъ чѣмъ-то безусловно важнымъ и отрицать художественность произведенія изъ-за устарѣлости мелочей исключительно формальныхъ и, конечно, второстепенныхъ.

Но въ основѣ ихъ тѣмъ не менѣе лежитъ коренное и очень значительное заблужденіе, которое давно пора разсѣять, чтобы отъ него окончательно освободиться. Ибо оно тѣмъ болѣе пагубно, что не только заставляетъ художниковъ кривить душой и заботиться о созданіи иллюзіи, т.-е. намѣренно обманывать, но и препятствуетъ правильной оцѣнкѣ искусства вообще, глубокой бездной раздѣляетъ писателя и читателя, является главной причиной вѣчныхъ недоразумѣній между ними, смѣшивая понятія, затемняя цѣли, спутывая стремленія, намѣренія и отвѣтственности.

Развѣ не заблужденіе сближать искусство съ дѣйствительностью, связывать ихъ, подчинять первое второй? И развѣ не оно заставляетъ художниковъ оправдывать свой вымыселъ, обставлять его такими вступленіями и объясненіями, которыя наиболѣе способны придать ему характеръ дѣйствительности, вмѣсто того, чтобы искренно и просто признавать вымыселъ вымысломъ и представлять его такимъ? Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, если бы искусство было только подражаніемъ дѣйствительности и, по возможности, точнымъ ея воспроизведеніемъ, то фотографія должна была бы сдѣлать ненужными рисунокъ карандашемъ и гравюру; только что изобрѣтенная фотографія въ краскахъ — упразднить портретъ, пейзажъ и марину; кинематографъ и фонографъ должны были бы вытѣснить романъ, драму и поэму.

А между тѣмъ этого не произошло и, конечно, не будетъ.

Слишкомъ мало довѣряемъ мы воображенію человѣчества, слишкомъ низко цѣнимъ ту драгоцѣнную способность безъ которой невозможно было бы искусство, слишкомъ много силъ тратимъ на то, чтобы сдѣлать эту способность ненужной, забывая, что духовныя способности, какъ физическіе органы умираютъ, когда не находятъ примѣненія, теряя жизненность съ цѣлесообразностью. Не говоря о томъ, что сближеніе искусства съ жизнью вноситъ неразрѣшимую путаницу въ наши понятія и въ наши оцѣнки, заставляетъ насъ подчинять этику эстетикѣ, или эстетику этикѣ, или отожествлять ихъ, чтобы избѣжать вопіющихъ несообразностей и противорѣчій, и тѣмъ самымъ сталкиваетъ насъ съ новыми, такими же несогласимыми противорѣчіями.

Пора бы понять, что красота не есть объективная реальность, а лишь субъективная норма, отраженная во внѣ. Поэтому и нѣтъ общаго и несомнѣннаго мѣрила красоты. Весь видимый міръ, вся природа, вся дѣйствительность — безличны съ точки зрѣнія человѣческой личности, и безформенны сами по себѣ относительно нея. Опредѣленную форму получаютъ и природа и жизнь только въ соотвѣтствіи съ тѣми субъективными не абсолютными для каждаго человѣка нормами, которыя не имъ созданы, но имъ восприняты въ собственной душѣ.

Такимъ образомъ не только въ произведеніяхъ искусства свободно и независимо отъ дѣйствительности эмпирическои творитъ человѣкъ свой міръ; но и міръ внѣшній, реально существующій, видитъ и воспринимаетъ, а слѣдовательно и создаетъ для себя также независимо отъ этой же дѣйствительности и только въ строгомъ соотвѣтствіи съ субъективными нормами личнаго „я“.

Это смутно сознается многими и подтверждается на каждомъ шагу и въ жизни, и въ искусствѣ. И нечего искать далеко.

Что неестественнѣе, искусственнѣе, менѣе соотвѣтствуетъ

дѣйствительности, чѣмъ стихотворный языкъ поэтовъ? А между тѣмъ они не пытаются оправдать его, не изобрѣтаютъ хитроумныхъ объясненій, чтобы убѣдить въ томъ, что при данныхъ условіяхъ нельзя было не говорить стихами и что въ дѣйствительности именно стихами и были выражены ощущенія, мысли, повѣсти о дѣяніяхъ, составляющія содержаніе ихъ стихотвореній. И тѣмъ не менѣе лишь незначительное меньшинство людей возстаетъ противъ неестественности стиховъ и то лишь обыкновенно когда ими пользуется иной, особый и самостоятельный видъ искусства: драма.

Конечно, и это ограниченіе совершенно произвольно и неправильно и вытекаетъ все изъ того же первоначальнаго заблужденія.

Въ немъ—и только въ немъ—слѣдуетъ искать объясненія психологической ошибкѣ Толстого, вслѣдствіе которой онъ счелъ не только допустимой, но и цѣлесообразной устную исповѣдь Позднышева.

Я слишкомъ ясно чувствую невозможность въ словесномъ разговорѣ сплести тончайшую кружевную сѣть внутреннихъ откровенностей и откровеній, чтобы, хотя мелькомъ и намекомъ начать такое повѣствованіе.

Вотъ почему я не продолжалъ вчерашняго разговора и предпочитаю вамъ писать. Ничто не развлечетъ вашего вниманія и, если что-нибудь прерветъ ваше чтеніе, вы всегда сможете возстановить въ памяти прочитанное и продолжить его, какъ будто васъ не отрывали. И если для васъ будетъ слишкомъ скучно и утомительно докончить чтеніе,—написанное все же останется написаннымъ, и, можетъ быть, кто-нибудь другой прочтетъ его и призадумается надъ той послѣдней правдой, проблески которой мы едва улавливаемъ, когда рѣшаемся вглядѣться въ темную бездну своей души.

Чувства ваши, конечно, благородны и дѣлаютъ вамъ честь; вамъ или вашимъ родителямъ или вашимъ воспитателямъ. Но прежде всего и главнымъ образомъ, — вамъ. Если вы дѣйствительно чувствуете такъ, какъ говорите, то вы очень честная и благородная натура, очень цѣльная. Это среди людей цѣнится. И мною также. Но немного иначе, чѣмъ другими. Я такую цѣльность считаю очень удобной и съ точки зрѣнія удобства и цѣню. Что же касается ея нравственной цѣнности... Тутъ я ничего опредѣленнаго сказать не могу. Слишкомъ ужъ много есть доводовъ и за и противъ. Но для того, чтобы не казалось, что я избѣгаю прямого отвѣта и укрываюсь за ничего не говорящими сопоставленіями: съ одной стороны — съ другой стороны — я свое мнѣніе выскажу немного опредѣленнѣе и рѣзче, чѣмъ бы слѣдовало, если бы я хотѣлъ быть точнымъ выразителемъ его.

Я скажу такъ: цѣльность, прямолинейность, увѣренность — безусловныя и положительныя качества для людей дѣла, такъ какъ трудно или даже невозможно дѣйствовать т.-е. совершать, для чего необходимо рѣшать — безъ нихъ. И есть, конечно, своя правда, своя цѣлесообразность въ дѣйствіи, во всякомъ поступкѣ, что-то съ собой вносящемъ въ жизнь, въ міръ, занявшемъ какое-то опредѣленное мѣсто, что-то замѣнившемъ или что-то предупредившемъ, изъ небытія сотворившемъ бытіе.

Но рядомъ съ ней и несмотря на всю реальность и неоспоримость фактовъ, какъ чего-то существующаго или существовавшаго, неизмѣнна и неуничтожаема иная правда,

менѣе замѣтная, но болѣе продолжительная, длящаяся, неисчезающая, хотя и не утверждающая себя ярко и громко, какъ первая. Это правда оцѣнки, правда справедливости, та внутренняя правда, которую легче всего почувствовать, труднѣе мыслить, почти нельзя облечь въ слова и совсѣмъ невозможно довѣрить дѣяніямъ.

Правда справедливости — есть правда равновѣсія. Не даромъ справедливость издревле изображали съ вѣсами въ рукахъ. А дѣйствіе всегда нарушеніе равновѣсія, такъ какъ полное равновѣсіе есть полное бездѣйствіе. И высшая справедливость только тамъ, гдѣ нѣтъ дѣйствій, гдѣ нѣтъ поступковъ, т.-е. выбора, предпочтенія чего-то, пренебреженія чѣмъ-то, утвержденія одного путемъ отрицанія другого.

И вотъ именно въ этомъ яснѣе всего видно различіе по существу между тѣми двумя правдами, о которыхъ я говорю. Первая всегда и неизбѣжно утверждаетъ, отрицая. Она не можетъ только утверждать или только отрицать, т.-е. признать равноцѣнность двухъ путей, двухъ поступковъ, двухъ рѣшеній. А вторая можетъ. И не только можетъ, но такъ и дѣлаетъ. Ибо только съ точки зрѣнія мгновенности возможны и необходимы выборъ и рѣшеніе, а не съ точки зрѣнія вѣчнаго, длящагося, непреходящаго. И поэтому дѣтски-наивна и смѣшна мысль, лежащая въ основѣ всѣхъ религій, о Божествѣ, избирающемъ среди людей угодныхъ ему, добродѣтельныхъ, вѣрныхъ ему и его завѣтамъ. Смѣшна эта мысль потому, что смѣшно представленіе о Божествѣ, такомъ же ограниченномъ во времени и пространствѣ, какъ человѣкъ, такомъ же безсильномъ, какъ послѣдній, выйти изъ неразрѣшимаго для земли противорѣчія между необходимостью рѣшеній и поступковъ и неизбѣжной ихъ несправедливостью. Но вѣдь мы дѣйствуемъ и рѣшаемъ, потому что не можемъ иначе, выбираемъ тотъ или иной путь, останавливаемся на томъ или другомъ рѣшеніи, потому что двухъ противоположныхъ принять не можемъ и двумя раз-

ными путями не можемъ одновременно итти. И даже тотъ, кто позналъ, что два рѣшенія могутъ быть вѣрны и два пути могутъ быть избраны, все-таки долженъ остановить свой выборъ на одномъ, такъ какъ физически не въ состояніи поступить иначе.

Но не смѣшно ли представленіе о Божествѣ, изображающее Его такимъ же ограниченнымъ въ силахъ, каковы мы, и такимъ же неспособнымъ осуществить справедливость, которую Оно, согласно нашей вѣрѣ въ Него, воплощаетъ? Вѣдь идея справедливости и даже ея голосъ не чужды нашему внутреннему прозрѣнію. И неужели вся разница между нами и нашимъ Богомъ только въ томъ, что Онъ немного лучше насъ знаетъ, что такое справедливость и какъ она проявляется, и все-таки не въ состояніи ее осуществить?

Для насъ возможно лишь одно изъ двухъ: не измѣнять нашего представленія о Богѣ и въ такомъ случаѣ смотрѣть на вселенную, какъ на игрушку въ Его рукахъ, что противорѣчитъ всему тому, что мы о вселенной знаемъ и въ чемъ наши знанія на каждомъ шагу подтверждаются, а съ другой стороны—нашему же представленію о Богѣ, какъ о Высшемъ Носителѣ началъ Справедливости и Всеблагости.

Или же рѣшительно и навсегда отвергнуть дѣтскій лепетъ прежнихъ религій съ ихъ сказками для дѣтей, которымъ мы вѣрили, пока были дѣтьми, и которымъ перестали вѣрить, когда возмужали, хотя, можетъ быть, лишь теперь научились цѣнить ихъ поэзію и восхищаться богатствомъ фантазіи, вложенной въ нихъ.

Но не одного Бога замѣнимъ мы тогда другимъ, какъ царя замѣняемъ царемъ, и не однѣ заповѣди другими, какъ законы—законами, не переставая быть рабами, а въ себѣ и во всей вселенной познаемъ мы одно Божество, утверждающее одновременно и Себя и міръ.

Итакъ, я признаю двѣ правды, изъ которыхъ одна, по слабости моей, все же мнѣ кажется менѣе совершенной, чѣмъ другая, но въ виду неизбѣжности ея—все-таки допустимой и пріемлемой. Эта первая правда болѣе реальна, чѣмъ вторая и реальность—самое положительное ея качество.

Это—правда дѣлъ, поступковъ.

Этой правдѣ вѣрны люди дѣла, которые должны быть увѣренными, сильными, цѣльными.

И поскольку ваши сужденія имѣютъ цѣлью дѣянія, ихъ неполная справедливость или даже полная несправедливость имѣютъ оправданіе.

Но не по существу.

И я вамъ это докажу примѣромъ.

Не входя въ разборъ очень сложнаго и для меня нѣсколько туманнаго понятія добродѣтели, женской добродѣтели, принимая ваше—и общее—толкованіе его, я не отказываюсь признать, что есть что-то унижающее человѣческое достоинство въ актѣ проституціи. И ваше рѣзкое осужденіе ея могло бы не вызывать возраженій, если бы оно было до конца вѣрно себѣ, достаточно широко въ своемъ примѣненіи и чуждо всякихъ снисхожденій и компромиссовъ.

Но такимъ оно быть не можетъ. И въ этомъ его слабая сторона.

Вамъ кажется совершенно яснымъ и неоспоримымъ, что нужно понимать подъ словомъ: проститутка. И на этой кажущейся ясности и опредѣленности вы основываете свое осужденіе.

Я вамъ отвѣчу такъ: всякая женщина, даже самая честная по вашей же терминологіи, можетъ быть, и бываетъ проституткой и къ тому же вовсе не изъ какихъ-нибудь недостойныхъ соображеній, въ родѣ корысти, а по побужденіямъ, которыя и вы признали бы достойными уваженія.

Прислушайтесь внимательно и безъ предубѣжденія къ моимъ словамъ.

И не удивляйтесь тому, что я вамъ напомню отрывокъ вашего же прошлаго, которое, казалось бы, вамъ извѣстно лучше, чѣмъ мнѣ. Въ томъ эпизодѣ его, къ которому я возвращаюсь, участвовалъ, кромѣ васъ, человѣкъ, настолько мнѣ близкій, что я знаю всѣ его мельчайшіе поступки, мысли и ощущенія, даже во время его сближенія съ вами.

Съ другой стороны я знаю и то, какъ высоко вы цѣнили его, какъ преклонялись передъ его нравственной чистотой умомъ и благородствомъ.

Поэтому, не останавливаясь на фактахъ, извѣстныхъ вамъ, не воспроизводя романа, въ его цѣломъ слишкомъ для васъ памятнаго, я только составлю комментарій къ нему, точный, искренній и правдивый.

„Комментарій къ ненаписанному роману“.

Можетъ быть онъ убѣдитъ васъ въ томъ, что безусловность принциповъ несогласима со справедливостью и заставитъ васъ пожалѣть объ одномъ изъ двухъ приговоровъ, вынесенныхъ вами двумъ убійцамъ.

У меня была сестра, сильная волей, своеобразная, умная, на рѣдкость развитая. Дѣтство и юность она провела въ средѣ людей выдающихся и разумомъ освободилась отъ многаго, что тяжелымъ бременемъ всякихъ нормъ и правилъ угнетаетъ бездумную покорность людей, не видящихъ далѣе перенятыхъ отъ предковъ привычекъ.

Разумомъ она была свободной. Не пугайтесь этого слова. Свободнымъ я называю не того, кто не знаетъ никакихъ ограниченій своимъ прихотямъ или инстинктамъ, такъ какъ, не ограничивая ихъ, онъ имъ слѣпо подчиняется, а слѣдовательно становится ихъ рабомъ. И я не знаю, есть ли преимущество быть рабомъ своихъ прихотей, вмѣсто того, чтобы быть рабомъ тѣхъ условностей, нормъ нравственности или правилъ приличнаго и подобающаго, которымъ подчиняется общество.

Пожалуй, что одно не лучше другого и не прибавляетъ ни на іоту свободы человѣку.

Нѣтъ! Свободенъ лишь тотъ, кто научился глядѣть, различать, видѣть, т.-е. не бездумно принимать все, что ему навязывается людьми или обстоятельствами, привычками или инстиктами, а останавливаться на каждомъ понятіи, на каждомъ явленіи, на каждомъ желаніи или требованіи внимательной зоркой мыслью, просвѣтленнымъ сознаніемъ, взвѣшивать и оцѣнивать, соглашаться, хотя бы на перекоръ своимъ влеченіямъ, отвергать, хотя бы противъ мнѣнія и принужденія тысячной толпы или даже тысячныхъ толпъ.

Не покоряться ни своимъ прихотямъ, ни чужимъ требованіямъ—одного или многихъ,—если разумъ не признаетъ законности и разумности прихоти или требованія, и покоряться имъ, если разумъ съ ними соглашается, но только потому, а не изъ какихъ бы то ни было другихъ побужденій—вотъ въ чемъ свобода. И нѣтъ иной.

Все остальное только самообманъ, тѣмъ болѣе заманчивый, что куда легче подчиняться готовому авторитету извнѣ, или мощному зову собственныхъ влеченій, чѣмъ каждый разъ упорнымъ усиліемъ сознательной мысли возвышаться надъ тѣмъ и надъ другими, испытывать ихъ, оцѣнивать и въ случаѣ нужды одолѣвать.

Вотъ въ такомъ смыслѣ я и называю свободной сестру.

Само собой очевидно, что это только въ предѣлѣ она была свободной, только въ этомъ направленіи искала свободы, такъ какъ достигнуть ея окончательно и вполнѣ едва ли въ нашихъ силахъ и во всякомъ случаѣ совершенно не подъ силу было ей. Сестра даже не особенно далеко пошла по этому пути. Но и этого было достаточно.

Нельзя забывать, что семья наша—старая буржуазная семья, въ которой правила чести и честности всегда блюлись съ крайней строгостью и обычныя моральныя воззрѣнія впитались въ плоть и кровь ея членовъ.

Что проституція, любовь за плату, казалась и кажется ей омерзительной — для васъ, конечно, ясно. И вамъ не трудно будетъ понять, какихъ усилій, какой борьбы, внутренней незамѣтной борьбы, стоило моей сестрѣ освобожденіе отъ тѣхъ ложныхъ обобщеній, которыя сплетаютъ случайное съ существеннымъ и однимъ общимъ осужденіемъ встрѣчаютъ и то и другое.

Вопросъ брачнаго и внѣбрачнаго сожительства для нашей семьи сливался съ вопросомъ проституціи, поскольку дѣло шло о личностяхъ. Внѣбрачная жена или проститутка — презрѣніе моихъ родителей и предковъ, родныхъ,

близкихъ и далекихъ, не позволяло имъ дѣлать различія между той и другой категоріей женщинъ.

Я это вамъ разсказываю для того, чтобы вы могли вполнѣ оцѣнить самостоятельность и разумность моей сестры сумѣвшей отдѣлить обоснованность осужденія проституціи, какъ чего-то по существу недостойнаго, отъ несправедливости отрицательнаго отношенія къ незаконнымъ бракамъ, поскольку отрицательно относится къ нимъ не общество въ цѣломъ,—которое не можетъ обойтись безъ условныхъ формъ, — а каждая отдѣльная личность, такъ какъ здѣсь совершается нѣчто не по существу презрѣнное, а лишь по формѣ несоотвѣтствующее условнымъ требованіямъ общежитія.

Многимъ показалось бы смѣшнымъ, что я настаиваю на такой, по ихъ мнѣнію, аксіомѣ. По моему тоже это аксіома. Но въ нашей семьѣ она и до сихъ поръ не признана и сестрѣ пришлось не только признать ее для себя, но и наперекоръ всѣмъ поступить согласно ея правдѣ.

Она сошлась съ тѣмъ, съ кѣмъ ее связывала близость, родственность, полная согласованность двухъ личностей, несмотря на всѣ ихъ различія и даже противорѣчія.

И эта близость, несмотря на эти рѣзкія отличія, и ей и мнѣ всегда казалась однимъ изъ самыхъ таинственныхъ и обаятельныхъ чудесъ несказанно таинственной, обаятельной и чудесной сказки любви.

Вѣнчаться они не могли, такъ какъ онъ былъ женатъ, разошелся съ женой и не могъ противъ ея желанія получить развода. А разводиться она не хотѣла.

Конечно, обстоятельства какъ бы оправдывали сестру въ глазахъ тѣхъ, кто строго держится формы. И можетъ быть тогда, несмотря на все свое освобожденіе отъ гнета формъ и нормъ, властвующихъ надъ людьми, невозможность

законнаго брака помогла ей на дѣлѣ и для себя самой отрѣшиться отъ него, переступить черезъ коврикъ, на который ступить нельзя было, обойтись безъ аналоя, котораго не пришлось ей трижды обойти.

Можетъ быть эта случайность способствовала ея освобожденію, такъ какъ легче разумомъ признать неважность или даже безсмысленность обряда, чѣмъ на дѣлѣ, для себя, отрѣшиться отъ него, когда общая и древняя привычка тысячью нитей связала обрядъ и то, что онъ прикрываетъ, начинаетъ, завершаетъ, или наглядно изображаетъ.

Но стоитъ однажды рѣшиться, обойтись и отвергнуть, чтобы сразу порвать всѣ нити, уничтожить ихъ безъ слѣда, такъ что даже возникаетъ сомнѣніе: да были ли эти нити въ самомъ дѣлѣ, и видѣли ли мы ихъ, или это намъ только казалось въ силу древняго внушенія, извратившаго дѣйствительность для нашего воспріятія?

Сестрѣ пришлось однажды рѣшиться, и она освободилась окончательно. И даже не подумала воспользоваться возможностью „узаконить“ свое положеніе, когда „настоящая“ жена сама пожелала развода и онъ былъ полученъ.

Тутъ долженъ быть помѣщенъ эпизодъ, въ которомъ настолько тѣсно сплетены элементы комическіе и трагическіе, что ни драмой, ни комедіей его назвать нельзя.

Эта неопредѣленность съ точки зрѣнія искусства, эта хаотичность, смѣшанность, спутанность, которыя всегда отмѣчаютъ всѣ событія жизни,—являются только лишнимъ доказательствомъ того, какъ наивно заблуждаются всѣ, кто думаетъ и утверждаетъ, что искусство подражаетъ жизни или у нея учится; между тѣмъ какъ оно творитъ свой міръ, свою дѣйствительность, настолько же отличную отъ той, которая насъ объемлетъ, насколько свѣтъ электрическаго фонаря отличенъ отъ свѣта луны, хотя издали иногда и кажется, что одинъ похожъ на другой.

Если я упоминаю объ этомъ эпизодѣ, то лишь съ цѣлью обратить ваше вниманіе на то, какъ все неопредѣленно, относительно, измѣнчиво до полнаго противорѣчія, во внѣшнихъ сочетаніяхъ и какъ легко ошибается тотъ, чьи принципы только формальны, а потому тверды и ясны, и чьи сужденія увѣренны, точны и строги, такъ какъ твердость и опредѣленность принциповъ и увѣренность сужденій всегда ведутъ къ строгости, не рѣдко граничащей съ жестокостью.

И это вполнѣ понятно: ничего нѣтъ тверже и опредѣленнѣе строгости, а тѣмъ болѣе жестокости, и какъ по наклонной плоскости скатывается къ нимъ человѣкъ отъ голыхъ и суровыхъ вершинъ неуступчивыхъ принциповъ.

Сестра сошлась съ человѣкомъ выдающимся во всѣхъ отношеніяхъ, чье имя заняло почетное мѣсто въ исторіи русскаго искусства и русской мысли.

Она знала его съ дѣтства и испытала на себѣ силу его обаянія, того необъяснимаго обаянія, которымъ онъ опутывалъ и привлекалъ къ себѣ женщинъ даже чуждыхъ какой бы то ни было интеллектуальности и несмотря на то, что не обладалъ ни малѣйшимъ внѣшнимъ достоинствомъ. Онъ былъ некрасивъ, неизященъ, непривлекателенъ физически.

Мнѣ кажется теперь, что сестра сочла любовью къ нему очень спутанный клубокъ самыхъ разнообразныхъ чувствъ, въ которыхъ не умѣла и не пыталась разобраться.

Да и какая молодая дѣвушка на ея мѣстѣ отнеслась бы къ этому иначе? Кто изъ нихъ можетъ отличить любовь отъ всего того, что близко любви, родственно ей или только слегка похоже? Всѣ мы къ несчастью узнаемъ съ чужихъ словъ, изъ книгъ или изъ разговоровъ, о существованіи различныхъ человѣческихъ чувствъ и создаемъ въ себѣ представленія о нихъ слишкомъ отвлеченныя и неточныя, чтобы съ ихъ помощью разбираться въ томъ, что мы испытываемъ на самомъ дѣлѣ, когда не воображеніемъ, а сердцемъ переживаемъ въ первый разъ нѣчто новое. И кто изъ насъ знаетъ, и какъ знать, не воображеніе ли и тутъ подчиняетъ себѣ дѣйствительность, извращая ее?

Какъ бы тамъ ни было, но сестра думала, что любитъ его, а онъ дѣйствительно полюбилъ ее, привязывался все больше и больше, до того, что для него жизнь стала бы безсмысленной и невозможной безъ нея.

И она это знала, вѣроятно не отдавая себѣ отчета въ томъ, что она только начинала жить, а онъ уже прожилъ большую часть положеннаго ему существованія, и что она была для него послѣднимъ лучемъ тихо блѣднѣющаго дня, а онъ для нея — первымъ лучемъ утренней зари, который всегда прекрасенъ, такъ какъ его не съ чѣмъ сравнивать, но только пока его не пришлось сравнивать съ другими, которымъ такъ легко быть и прекраснѣе и обаятельнѣе.

И единственной тучей на синемъ небѣ былъ недостатокъ въ деньгахъ, то чисто внѣшнее неудобство, котораго внутренно нельзя не презирать, съ которымъ практически нельзя не считаться, даже самымъ безкорыстнымъ, самымъ нетребовательнымъ, самымъ возвышеннымъ умамъ.

Денегъ у нихъ никогда не бывало много; и съ этимъ они примирились или по крайней мѣрѣ примирялись. Къ сожалѣнію случалось, что скудный заработокъ изсякалъ и не предвидѣлось новаго, между тѣмъ какъ расходы не только всегда предвидѣлись, но необходимость ихъ и постоянство этой необходимости давали себя знать неизмѣнно, во всякую минуту, не взирая ни на какія завоеванія въ области мысли или вымысла.

Мыслителю, конечно, отчаяваться какъ будто не полагается; художнику, наоборотъ, приличествуютъ всякія крайнія настроенія. И пока художникъ боролся съ мыслителемъ и въ сущности побѣждалъ его, такъ какъ нарушалъ равновѣсіе безстрастнаго созерцанія самымъ фактомъ борьбы, сестра вносила въ эту борьбу всю непослѣдовательность и сумбурность женской логики, которая отличается удивительной способностью дѣлать совершенно неправильные выводы изъ совершенно правильныхъ предпосылокъ, къ тому же никогда не формулируемыхъ, а только подразумѣваемыхъ, какъ нѣчто само собой очевидное и непреложное. А такъ какъ при каждомъ данномъ случаѣ предпосылки мѣняются, оставаясь невыраженными и сохраняя свой характеръ непреложности, то и выводы отличаются не постоянствомъ того, что ими утверждается, а лишь категоричностью утвержденія.

Съ точки зрѣнія болѣе положительнаго мужскаго разума такой способъ мышленія заслуживаетъ, конечно, полнаго осужденія или даже отрицанія, но можетъ быть онъ лишь свидѣтельствуетъ объ особой способности приспособляться, которая присуща женщинѣ, сглаживаетъ рѣзкія

противорѣчія между внутренней личностью и внѣшними обстоятельствами жизни и создаетъ ту колеблющуюся ея гармонію, которая намъ кажется однимъ изъ женскихъ очарованій, когда мы наблюдаемъ ее со стороны, и чѣмъ-то лживымъ, скользкимъ и отвратительнымъ, какъ холодное прикосновеніе извивающейся змѣи, когда мы отъ нея пострадали. Вытекаетъ ли эта особенность женщины изъ недифференцированности ея мышленія, послѣдствіемъ чего является болѣе слабое сравнительно съ мужскимъ ощущеніе женщиной своей личности, съ чѣмъ въ свою очередь связано отсутствіе въ ней активности, иниціативы,—и насколько всѣ эти черты носятъ и положительный характеръ и въ какомъ отношеніи онѣ цѣнны,—вопросы не только не рѣшенные, но даже и не поставленные до сихъ поръ съ подобающей опредѣленностью и точностью.

Несмотря на всѣ свои исключительныя и рѣдкія въ женщинѣ качества, сестра оставалась женщиной, что, конечно, я говорю далеко не въ укоръ ей.

И бывали въ ихъ жизни тяжелыя минуты, къ которымъ они относились съ презрѣніемъ, немного свысока, какъ и приличествовало людямъ, стоящимъ или желающимъ стоять выше всѣхъ мелкихъ несообразностей жизни, что не помѣшало бы имъ проводить со вздохомъ истиннаго облегченія, послѣдній мигъ послѣдняго такого дня, если бы кто-нибудь протянулъ имъ руку помощи и разсѣялъ окончательно черную тучу въ синевѣ ихъ небесъ.

И рука помощи протянулась и къ ногамъ ихъ незамѣтно уронила молчаливымъ смѣхомъ искривленную маску комедіи.

Моего отца въ то время уже не было въ живыхъ, а мать конечно, не могла примириться съ внѣзаконнымъ сожительствомъ сестры.

И вотъ, въ одну изъ тяжелыхъ минутъ, когда послѣднія деньги изсякали и новыхъ неоткуда было ждать, она явилась съ предложеніемъ обезпечить ихъ на довольно продолжительный срокъ, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы они дали совершить надъ собой обрядъ вѣнчанія, благо разводъ былъ полученъ и ничто имъ не мѣшало войти въ лоно законности.

Послѣднее было совершенно вѣрно поскольку дѣло шло о внѣшнихъ препятствіяхъ.

И даже съ точки зрѣнія ихъ отношенія къ браку все какъ будто обстояло благополучно, такъ какъ они были чужды фанатизма и не считали обрядъ вѣнчанія чѣмъ-то позорнымъ, что непремѣнно должно убить любовь, осквернить красоту свободнаго сближенія, непосредственность взаимнаго порыва, и превратить ихъ въ рабовъ, скованныхъ вмѣстѣ чужою волею съ ихъ обоюднаго согласія.

Такихъ преувеличеній они были чужды и отрицали только необходимость обряда по существу, допуская его какъ нѣчто формальное, хотя съ этой точки зрѣнія не вполнѣ отвѣчающее своему назначенію, потому что онъ смѣшиваетъ разныя начала, въ чемъ однако, ничего глубоко трагическаго они не усматривали.

Они просто не придавали значенія тѣмъ формамъ, которыми законодатель обставилъ брачный обрядъ, и, не подчиняясь требованіямъ общества, не нуждались въ его санкціи, обусловленной санкціею закона. Но съ другой стороны не давали власти надъ собою и отвлеченнымъ принципамъ, которые во имя свободы, а въ сущности лишь освобожденія отъ данныхъ формъ, порабощаютъ человѣка себѣ,—и поэтому согласились бы безъ всякихъ угрызеній вѣнчаться по всѣмъ требованіямъ церкви и полиціи, если бы это было

необходимо ради ихъ любви, такъ какъ только она казалась имъ важной и значительной, а все менѣе важное и тѣмъ болѣе совсѣмъ неважное, очевидно, должно было быть ей подчинено или даже принесено въ жертву.

Но въ данномъ случаѣ все перепуталось.

Вѣдь сошлись они не вѣнчаясь, прожили такъ не одинъ годъ, и даже не одну пару лѣтъ и вдругъ, ни съ того, ни съ сего, или, говоря точнѣе, изъ-за нѣсколькихъ тысячъ рублей, имъ приходилось какъ бы отвергнуть прошлое, отказаться отъ него и продѣлать цѣлый рядъ формальностей, безъ которыхъ нельзя совершить того, что они давно совершили.

Можно было бы, конечно, утверждать, что считая обрядъ, лишеннымъ какого бы то ни было значенія, положительнаго или отрицательнаго, они поступили бы вполнѣ послѣдовательно, если бы совершили его ради несомнѣнной практической выгоды.

Но формальная правильность этого разсужденія лишь искусно прикрывала бы обманъ, неискренность и нечестность по отношенію къ нимъ самимъ, потому что съ той вершины, съ высоты которой они могли пренебречь обрядомъ, они должны были видѣть всю незначительность и мелочность по существу матеріальныхъ выгодъ, корысти и денегъ, и презирать ихъ, какъ они ихъ и презирали во имя высшей свободы.

И трагизмъ ихъ положенія вовсе не былъ исключительнымъ, такъ какъ это былъ обычный и неизбѣжный трагизмъ всякой жизни, въ которой всегда самоутверждаются двѣ равноцѣнныя правды, духа и плоти, мысли и поступка, предметовъ и понятій. И равноцѣнность двухъ правдъ не мѣшаетъ ихъ согласимости на вѣсахъ справедливости, но не можетъ примирить ихъ безысходнаго противорѣчія на бранномъ полѣ дѣйствительности.

Въ сущности вся трудность, какъ всегда, была обусло-

влена тѣмъ, что мы привыкли звать искушеніемъ, и что есть лишь ощущеніе и признаніе обаятельности или цѣнности чего-то, что противорѣчитъ обаятельности или цѣнности чего-то другого, тоже искушающаго насъ. И мы должны были бы говорить о двухъ искушеніяхъ, влекущихъ насъ въ противоположныя стороны, если бы мы не привыкли называть искушеніемъ лишь то притяженіе, которое исходитъ отъ предметовъ, поступковъ, отъ всего, что реально, осязаемо и сулитъ намъ блага осязаемыя и реальныя.

И этимъ тонкимъ, но общепринятымъ различіемъ мы безсознательно отдаемъ предпочтеніе благамъ духовнымъ и въ то же время сознаемся въ своемъ безсиліи признать на дѣлѣ то, что мы внутренно предпочли.

Такимъ образомъ, мы какъ бы нарочно обрекаемъ себя на вѣчныя противорѣчія съ самими собой, и съ легкимъ сердцемъ провозглашаемъ свое ничтожество и свою грѣховность, не ища имъ объясненія, вмѣсто того, чтобы вдуматься и понять, что кажущаяся грѣховность есть лишь отвергаемое нами по роковому заблужденію одно изъ двухъ равноцѣнныхъ началъ, и что не предпочитать мы должны одно другому, а лишь выбирать—каждый для себя—какое осуществить въ своей жизни, такъ какъ невозможно не равное признаніе обоихъ, а только совмѣстное ихъ осуществленіе.

Но если трагизмъ ихъ положенія не былъ ни достаточно глубокимъ, ни достаточно необычнымъ, чтобы вызвать чье бы то ни было изумленіе, соболѣзнованіе или просто сочувствіе, то и комизмъ его не могъ служить поводомъ для искренней веселости.

Хотя что могло быть смѣшнѣе той сцены, которой разрѣшилась „роковая коллизія между благородной идеей и мелкими требованіями будничнаго существованія?“

Что могло быть комичнѣе вѣнчанія этихъ двухъ людей обошедшихся безъ него, прожившихъ безъ него многіе годы, не придававшихъ ему никакого значенія, не вѣровавшихъ въ его святость, не признававшихъ его обязательности и теперь, будучи по своему глубокому убѣжденію и согласно фактамъ мужемъ и женой, подчинявшихся всѣмъ формальностямъ строгаго обряда и принужденныхъ притвориться, что они чужіе другъ для друга и не смѣютъ безъ разрѣшенія церкви и государства осуществить свою любовь?

И все это не до первой брачной ночи, когда молодое, еще не проявленное физически чувство, когда нетерпѣніе еще неудовлетворенныхъ желаній могли скрасить, стушевать, ослабить безсмысленность и ненужность обряда; а послѣ многихъ лѣтъ сожительства, послѣ безчисленныхъ ночей, повторившихъ первую брачную ночь; все это—не для удовлетворенія страсти, а помимо любви, и помимо страсти, не въ нервномъ подъемѣ и бездумности ожиданія, а при самомъ спокойномъ и ясномъ сознаніи того, что дѣлается, и совершенномъ безстрастіи мысли, которая не могла не замѣчать всѣхъ малѣйшихъ подробностей сцены, не могла не останавливаться съ особенной настойчивостью на двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицахъ и на испытываемой ими неловкости, очевидность которой еще усиливала комизмъ положенія.

Но за этимъ комизмомъ все же чувствовалось что-то иное, что мѣшало его цѣльности, точно такъ же, какъ онъ дробилъ и сужалъ трагизмъ коллизіи двоившей волю и настроеніе вѣнчавшихся.

И такимъ образомъ и трагедія была какая-то куцая и комедія какая-то жалкая. И безконечно смѣшонъ былъ бы тотъ, кто безъ сомнѣній и колебаній рѣшился бы примѣнить къ нимъ общее и неуступчивое мѣрило отвлеченнаго долга чуждаго требованіямъ жизненной необходимости, или реаль-

ныхъ требованій жизни, не признающихъ абсолютнаго императива отвлеченныхъ нормъ.

Но развѣ не такъ поступаетъ большинство людей, всегда нуждающихся въ твердой опорѣ и забывающихъ, что только маленькія дѣти и согбенные старики не могутъ стоять на слабыхъ ногахъ безъ посторонней помощи, не опираясь на руку матери или няни, или на твердую и крѣпкую палку?

Но какъ только окрѣпнутъ ноги ребенка, онъ гордо отказывается отъ всякой опоры и поддержки, и съ чувствомъ стыдливаго униженія и сожалѣнія поддерживаетъ свою слабость старикъ.

И лишь въ области мысли, въ области сужденій, не стыдится человѣкъ своей слабости, боится самостоятельности и вѣчно ищетъ опоры точныхъ и ясныхъ принциповъ, какъ ребенокъ руки няни, какъ старикъ—палки.

И не такъ ли поступили и вы, во имя точнаго, твердаго и строгаго общаго принципа—общаго, т.-е. чужого—такъ твердо, увѣренно и строго осудивъ цѣлую категорію женщинъ, а въ сущности,—я уже намекалъ на это,—всѣхъ женщинъ?

Вотъ именно это я и хочу вамъ показать на своемъ примѣрѣ.

Какимъ образомъ случилось, что вы сблизились съ сестрой — именно вы, именно съ сестрой — я не знаю. Да и что тутъ знать?

Чѣмъ внимательнѣе мы всматриваемся въ жизнь, тѣмъ съ большей очевидностью поражаетъ насъ послѣдовательность, связность и цѣлесообразность самыхъ мелкихъ, казалось бы ничтожныхъ и повидимому ничѣмъ не вызванныхъ и ни для чего ненужныхъ случайностей. И если иногда онѣ и кажутся намъ нужными, то обыкновенно не для той цѣли, къ которой онѣ насъ незамѣтно вели.

И мы бы съ глубочайшимъ смиреніемъ почтили невѣдомый намъ Разумъ и чуждую намъ Волю, направляющіе насъ непредвидѣнными путями къ непредугаданной цѣли, если бы нашъ собственный разумъ и наша собственная воля, рѣзко ощутимые, почти осязаемые, не овладѣвали каждымъ мгновеніемъ, не изощрялись на каждомъ событіи и до того опутывали ихъ той паутиной, которую человѣкъ неустанно ткетъ вокругъ себя, — чтобы безпомощно биться въ ней самъ, какъ пойманная муха, — что дѣйствительность ему никогда не видна сама по себѣ, а лишь сквозь тонкія и перепутанныя нити его ощущеній, мыслей и устремленій.

И одинаково правы и тѣ, кто вѣритъ въ свободную волю человѣка и тѣ, кто отрицаетъ ее. Ибо личная воля каждаго есть нѣчто реальное во мгновеніи; и реаленъ выборъ и реально каждое изъ возможныхъ рѣшеній. И въ то же время неизбѣжно и цѣлесообразно вѣчное совершеніе, складывающееся изъ кажущихся случайностей, но неслучайное, движимое тысячами отдѣльныхъ и свободныхъ воль, совокупность которыхъ едина и въ своей строгой законности несвободна.

И разными словами утверждаютъ ту же правду и Браманъ, поучающій, что каждый самъ творитъ свою судьбу и что каждое новое воплощеніе есть результатъ предыдущаго, и послѣдователь Пророка, вѣрующій въ предопредѣленіе; и христіанинъ ждущій награды за добрыя дѣла и кары — за дурныя. Ибо всѣ они отдаютъ лишь мгновеніе, каждое реальное мгновеніе, во власть человѣческой волѣ, понимая, что мгновенія незначительны и воля людей безсильна измѣнить вѣчное совершеніе на вѣчномъ пути.

И лишь длиннѣе и труднѣе путь, начертанный вѣрой Брамана, но зато и вѣрнѣе, не имѣя точнаго предѣла во времени; короче и легче, но и страшнѣе путь христіанина, ведущій къ скорому и послѣднему концу, послѣ котораго не отъ него уже зависитъ его участь; и проще всѣхъ, прямолинейнѣе и какъ-то безсмысленно-благороднѣе путь мусульманина, ибо онъ не какъ разумный честолюбецъ владѣетъ тѣмъ, чѣмъ въ силахъ владѣть, не зарясь на то, что власти его недоступно, а въ непреклонной гордости, найдя предѣлъ своимъ силамъ, сразу отказывается отъ всего и не переступаетъ порога тюрьмы, дверь которой открыта для всѣхъ, но ведетъ лишь на тѣсный дворъ, обнесенный стѣной во сто разъ выше роста человѣческаго.

Безполезно спрашивать, почему и для чего вы сблизились, такъ какъ нѣтъ у насъ возможности отвѣтить, ни въ особенности провѣрить вѣрность отвѣта.

И поскольку всякій отвѣтъ будетъ лишь догадкой ни для кого неубѣдительной и ни для кого не обязательной, не имѣю ли я право утверждать, что сближеніе ваше съ сестрой нужно было для того, чтобы я могъ сегодня написать эти строки?

Это утвержденіе не было бы безсмысленнымъ, если бы мои строки были въ свою очередь для чего-нибудь нужны. Но я слишкомъ скроменъ, чтобы допустить такое предположеніе.

Три мѣсяца послѣ первой встрѣчи, до которой вы, кажется, и не подозрѣвали существованія сестры, вы съ нею уже видѣлись почти каждый день.

У васъ было дѣло къ мужу. О женѣ вы и не думали. Познакомились съ ней и тоже о ней не думали. Когда черезъ нѣсколько дней вы вернулись, все по тому же дѣлу, она уже уѣхала. Это было весной. Недѣли черезъ двѣ уѣхалъ и мужъ. Вы о нихъ не вспоминали три мѣсяца и, хотя они должны были вернуться лишь поздней осенью, вы въ концѣ лѣта зашли о нихъ справиться.

Сестра только что вернулась одна. Вы поднялись къ ней.

Такъ это началось.

Много мѣсяцевъ спустя, она вамъ разсказала, что какъ разъ собиралась вамъ написать, когда вы къ ней позвонили. Это не трудно сказать потомъ. Но зачѣмъ бы ей было выдумывать?

Она была одна и скучала. Отчего она была одна, отчего вернулась раньше – не знаю. Она сама не знала, или не умѣла или не хотѣла объяснить. Но до возвращенія не думала о васъ. Это во всякомъ случаѣ несомнѣнно.

Такимъ образомъ все сплеталось и куда-то васъ вело, если не наперекоръ вамъ, то помимо васъ: отъ первой, какъ бы безсознательной встрѣчи, когда предстали другъ передъ другомъ ваши внѣшніе облики, увидѣли глаза и коснулись руки, до перваго сознательнаго сближенія, когда столкнулись двѣ личности, двѣ воли, и отъ души къ душѣ протянулись впервые незамѣтные щупальцы, устремились невидные взгляды.

Въ свѣтлой залѣ большого ресторана, гдѣ длинными рядами стояли покрытые бѣлымъ столы, какъ застывшіе гребни набѣжавшихъ на песокъ морскихъ волнъ; гдѣ яркій свѣтъ былъ ослѣпительнѣе и отраднѣе послѣ сырого сумрака темныхъ улицъ; гдѣ немолчный говоръ, звонъ посуды, хлопанье пробокъ и тягучіе, раздражающіе и манящіе звуки моднаго вальса сплетались, не сливаясь, какъ сближались на одномъ мѣстѣ, сбивались въ кучу люди, съ какимъ-то неопредѣленнымъ и сложнымъ чувствомъ отрады смутно сознавая себя и свою одинокость затерянными и поглощенными въ толпѣ такихъ же одинокихъ, чужихъ другъ другу и все же физически близкихъ людей; гдѣ все казалось открытымъ и привѣтливымъ, и хотя каждый зналъ, что это не такъ, но всѣ притворялись, что вѣрятъ и привѣтливости, и искренности и добродушію, потому что такъ было удобнѣе и пріятнѣе и такъ хотѣлось удобнаго, пріятнаго и легкаго; за маленькимъ столикомъ, въ углу, вдали отъ оркестра, сестра предложила вамъ, и вы съ радостью согласились, быть только друзьями и заранѣе исключить изъ возможныхъ отношеній слова любви и самую любовь.

И не только помимо васъ, но прямо наперекоръ вамъ сплелися первыя тонкія нити вашей близости въ этотъ первый проведенный вами вдвоемъ вечеръ.

Вы, вѣроятно, не разъ впослѣдствіи возвращались мысленно къ этимъ часамъ и съ улыбкой легкой насмѣшки и легкаго недоумѣнія вспоминали о вашихъ рѣшеніяхъ.

Не казалось ли вамъ, что судьба лишній разъ насмѣялась надъ вашей человѣческой гордостью, надъ вашей волей и вѣрой въ себя? Или, можетъ быть, вы попытались объяснить неожиданное противорѣчіе между вашими намѣреніями и событіями и убѣдили себя въ томъ, что словами объ отвергаемой заранѣе любви вы сами пробудили ее въ себѣ, предощутили ея возможность и подготовили ей почву?

Какъ бы тамъ ни было, но въ этотъ вечеръ вы были неосторожны и въ самомъ дѣлѣ разбудили спящаго врага.

Только разбудили. Но этимъ самымъ уже дали ему нѣкоторую власть надъ вами, еще не признавая ея, даже не сознавая. Любитъ же человѣкъ лишь тогда, когда сознательно отдалъ себя во власть своей любви, призналъ ее и подчинился ей.

И всегда, у всякаго человѣка и при всякой любви, наступаетъ такая рѣшительная минута, когда можно ее отвергнуть или признать.

И не вѣрьте тому, кто говоритъ, что когда онъ позналъ свою любовь, онъ былъ уже не въ силахъ съ ней бороться. Это — ложь, вольная или невольная.

Всегда, неизбѣжно, выходитъ любовь на свѣтъ сознанія, какъ трава, какъ цвѣты на свѣтъ дня, раньше или позже, и не могутъ не встрѣтиться любовь съ сознаніемъ и не могутъ разойтись, не помѣрившись силами, разойтись, какъ будто не встрѣтились и не знаютъ другъ друга.

Что-нибудь должно быть рѣшено въ этотъ краткій мигъ, когда еще одинаково возможно каждое изъ двухъ возможныхъ рѣшеній.

Ибо пока сознаніе не приняло, т.-е. не допустило, слѣдовательно не подчинилось, любовь не побѣдила его, не покорила воли, не увѣнчалась послѣдней властью. И тотъ, кто склоняетъ голову при первомъ взглядѣ на нее, свидѣтельствуетъ не объ ея мощи, а о своей робости, такъ какъ онъ похожъ не на карлика, встрѣтившагося съ великаномъ, а на великана, не испытавшаго своей силы, потому что онъ страшится боя, не вѣритъ себѣ, и встрѣчу съ врагомъ считаетъ для себя пораженіемъ.

Эта робость объясняется тѣмъ, что къ любви мы подходимъ съ предвзятыми взглядами, которые вмѣсто того,

чтобы способствовать уразумѣнію сложнаго чувства, только затемняютъ его истинный ликъ.

Чтобы раскрыть его, слѣдовало бы прежде всего разобраться въ различныхъ жизненныхъ опредѣленіяхъ любви и найти такое, которое охватывало бы всѣ формы любви и не заграждало бы пути къ метафизической сущности ея, а указывало бы и открывало къ ней доступъ.

Если бы мы обратились съ вопросомъ: что такое любовь? къ средневѣковому рыцарю, къ расфранченному маркизу 18 вѣка и къ святому, вродѣ Франциска Ассизскаго, т.-е. къ тремъ представителямъ трехъ наиболѣе яркихъ воззрѣній на любовь, то мы получили бы слѣдующіе отвѣты:

рыцарь сказалъ бы, что любовь есть духовное влеченіе; легкомысленный маркизъ въ напудренномъ парикѣ и золоченномъ камзолѣ увѣренно заявилъ бы, что любовь — чувственное вожделѣніе, и, повернувшись на высокихъ красныхъ каблукахъ, съ усмѣшкой повторилъ бы циничный и ходкій въ то время афоризмъ: l'amour c'est le choc de deux phantaisies et le contact de deux épidermes; а святой Францискъ убѣжденно и ласково прошепталъ бы: любовь — это состраданіе.

Я сейчасъ укажу въ какой мѣрѣ каждый изъ нихъ былъ бы правъ. Но считаю нужнымъ до этого выяснить, въ чемъ ихъ ошибка, общая для всѣхъ, и въ чемъ личное заблужденіе каждаго.

Общая ихъ ошибка въ томъ, что они опредѣляютъ любовь, пользуясь такими признаками, которые не исчерпываютъ понятіе любви, а уже его по объему.

Личное же заблужденіе каждаго становится очевиднымъ при выясненіи тѣхъ противорѣчій, въ которыя они впадали и не могли не впасть при столкновеніи теоріи съ практикой.

Рыцарь, провозглашавшій чистоту и духовность любовнаго влеченія, безъ колебаній отправлявшійся на бой съ невѣрными въ далекій край, гдѣ его ждала смерть отъ руки

врага или отъ болѣзни, и мечтавшій о безкорыстномъ служеніи религіозному идеалу и о прославленіи имени любимой дамы, наперекоръ себѣ самому и своимъ принципамъ дошелъ до цѣлаго ряда компромиссовъ, въ основѣ которыхъ лежало то чувственное вожделѣніе, которое онъ отвергалъ и которое утверждалъ, за исключеніемъ всего остального, напудренный и пустоголовый маркизъ, принужденный на практикѣ принять и признать для себя то, чего по своимъ воззрѣніямъ онъ не хотѣлъ и не могъ допустить.

Въ самомъ дѣлѣ, намъ извѣстенъ въ главныхъ чертахъ тотъ кодексъ, который былъ выработанъ влюбленными рыцарями, и съ забавной для насъ точностью устанавливалъ, до какихъ обнаженныхъ частей тѣла любимой дамы рыцарь имѣлъ право прикасаться рукой или устами.

Не менѣе извѣстно намъ и то, какъ тщательно скрывали свою любовь тѣ аристократы 18 вѣка, которые считали смѣшной и позорной любовь — чувство и единственно достойной себя — любовь, какъ чувственное влеченіе. Но то, что они скрывали, они вѣдь испытывали. И противорѣчіе общепринятаго воззрѣнія на любовь съ ея истинной сущностью достаточно очевидно и на ихъ примѣрѣ и на примѣрѣ самого короля — солнца, близость котораго со вдовой Скаррона, женщиной большого ума и сильной воли, типомъ жены, а не любовницы, никоимъ образомъ не могла быть приведена въ соотвѣтствіе съ легкостью внѣшнихъ формъ, которыми ограничивалось чувственное сближеніе между мужчиной и женщиной въ ихъ эпоху.

Что касается Франциска Ассизскаго, то его всеобъемлющая любовь, простиравшаяся не только на несчастныхъ, но и на всѣхъ людей вообще и не только на людей, но и на весь видимый міръ, очевидно, не покрывалась состраданіемъ.

Если вѣрно то, что любовь, сближающая любящихъ, предполагаетъ желанье и способность сорадоваться и сострадать съ любимыми, то все же не трудно представить

себѣ и такую, въ которой состраданіе не будетъ играть никакой роли.

Извѣстный стихъ Виктора Гюго; un ver de terre amoureux d'une étoile указываетъ намъ на любовь, которая ужъ, конечно, вызывается не чувствомъ состраданія.

Вѣрны же всѣ три отвѣта въ томъ отношеніи, что опредѣляютъ любовь, какъ влеченіе.

Любовь въ самомъ дѣлѣ всегда есть влеченіе къ кому-нибудь или, благодаря бѣдности въ данномъ случаѣ русскаго языка, къ чему-нибудь.

Недостатокъ такого опредѣленія заключается въ томъ, что оно механическое, внѣшнее, и, собственно говоря, ничего намъ не поясняетъ, не указываетъ даже на то, чѣмъ вызывается любовное влеченіе. Оно сближаетъ любовь со всѣмъ тѣмъ, что устремляетъ человѣческую волю къ чему бы то ни было и такимъ образомъ, на основаніи внѣшняго, не существеннаго, признака устанавливаетъ родство любви со всѣми остальными влеченіями человѣка, между тѣмъ какъ влеченія вообще лишь внѣшне очевидны, а по существу и даже жизненному смыслу, въ свою очередь, требуютъ еще опредѣленія и объясненія.

На опредѣленіи: „любовь есть влеченіе“ мы можемъ остановиться, лишь поскольку оно указываетъ намъ путь къ установленію того, чѣмъ вызываются всѣ влеченія человѣка безъ исключенія, что является ихъ общей основой.

Этимъ путемъ восхожденія до общей первопричины мы дойдемъ до такого опредѣленія любви, которое строго согласуется съ ея метафизическимъ смысломъ.

Влечетъ человѣка ко всему, въ чемъ онъ ощущаетъ потребность, физическую или духовную, слѣдовательно, ко всему, чего ему недостаетъ.

Такъ какъ ощущеніе или сознаніе потребности въ чемъ-нибудь, недостатка въ чемъ-нибудь, т.-е. своей недостаточности, неполноты есть ощущеніе или сознаніе своей въ

данномъ отношеніи слабости, то очевидно, что всякое влеченіе является слѣдствіемъ слабости, есть проявленіе слабости или, короче и не такъ точно, есть слабость.

Съ этой точки зрѣнія намъ вполнѣ ясна и понятна связь между любовью и всѣми другими влеченіями человѣка.

Отличаться они будутъ другъ отъ друга лишь тѣмъ, какую потребность стремимся мы удовлетворить, чего намъ недостаетъ.

И если я укажу но то, что всѣ влеченія человѣческія имѣютъ объектами строго опредѣленныя и ограниченныя въ своихъ объемахъ блага, физическія или духовныя, нужныя для того, чтобы удовлетворить человѣка въ одной какой-нибудь области его „я", не касаясь остальныхъ, т.-е. не равнозначущія и не равноцѣнныя личности человѣческой, и что только любовь и во многомъ близкая ей и родственно съ ней связанная вѣра являются стремленіемъ личности къ чему-то равноцѣнному и равнозначущему, ибо онѣ влекутъ ее къ сближенію, единенію и сліянію съ другими личностями или съ Божествомъ, т.-е. съ личностью міровой, то не станетъ ли очевиднымъ, что любовь является самымъ значительнымъ и цѣльнымъ влеченіемъ человѣка и что самой значительной и цѣнной является та человѣческая слабость, которая лежитъ въ основѣ любви.

Но обычно люди связуютъ понятіе слабости съ отрицательными чертами человѣческой личности и не видятъ ея тамъ, гдѣ она имѣетъ положительное значеніе

Чѣмъ это вызвано и какъ это измѣнить, я укажу дальше.

Но мнѣ хотѣлось бы тутъ же устранить одно возможное недоразумѣніе.

Многимъ вѣроятно покажется страннымъ сближеніе любви со слабостью и если даже логически они его примутъ, то, несомнѣнно, будутъ протестовать противъ обобщеній и не преминутъ заявить, что данное опредѣленіе любви не вяжется съ тѣми случаями, когда любитъ сильный человѣкъ.

Но дѣло въ томъ, что слабость, проявляющаяся во всякомъ влеченіи, не является показателемъ для опредѣленія характера человѣка и что каждый человѣкъ, даже самый сильный, можетъ въ извѣстныхъ случаяхъ и въ каждомъ данномъ отношеніи быть слабымъ.

Это было бы невѣрно только при возможности существованія чего-нибудь абсолютнаго и съ данной точки зрѣнія— абсолютной, безпримѣсной, исключающей всякое противорѣчіе съ собой силы.

А этого не бываетъ и не можетъ быть.

Каждый эмпирическій фактъ характеризуется для насъ сравнительными оцѣнками родственныхъ съ нимъ фактовъ и, такимъ образомъ, сильнымъ мы называемъ того опредѣленнаго и реальнаго человѣка, который сильнѣе многихъ другихъ, а не абсолютно силенъ, ибо такихъ мы не встрѣчаемъ и не можемъ встрѣтить. И это, хотя и не сознается людьми, но безсознательно ими все же ощущается и даже утверждается, когда они говорятъ о своей „слабости къ комунибудь“, намекая при этомъ на ту основу влеченія человѣка къ человѣку, которая является самымъ характернымъ признакомъ любви.

Любовь вообще проявленіе человѣческой слабости.

Но эта слабость можетъ насъ вести въ разныя стороны и направлять къ различнымъ послѣдствіямъ.

Любовь не только сложнѣе, чѣмъ это кажется людямъ, которыхъ занимаютъ приключенія любви, т.-е. сопутствующія ей обстоятельства, гораздо больше, чѣмъ она сама, — но и совершенно мѣняетъ свой обликъ соотвѣтственно тому, какъ мы на нее взглянемъ: если житейскимъ глазомъ, то увидимъ любовь знакомую всѣмъ временамъ и всѣмъ толпамъ человѣческимъ; если взоромъ духовнымъ, просвѣтленнымъ и благоговѣйнымъ, — то увидимъ ее такой, какой знали ее лишь немногіе. Знали или угадывали. И по праву восхваляли ее, превозносили, освящали.

Но вѣдь восхваляли и превозносили любовь не только они, а всѣ люди, всѣ толпы людскія, всѣ стада человѣческія. Что же восхваляли и восхваляютъ они? Не красоту ли и силу любви? Не красоту ли и силу страсти?

Слѣпцы! Не видятъ они себя, не видятъ своей любви.

На плоскихъ равнинахъ дѣйствительности, гдѣ царятъ совершеніе и точная ограниченность осуществленныхъ возможностей, любить пока еще значитъ быть слабымъ, одновременно стыдиться и радоваться своей слабости, испытывать такое же наслажденіе, какое даруютъ самыя страданія наши, когда мы всецѣло имъ отдаемся и подчиняемъ и волю и сознаніе, которыя еще не въ силахъ съ ними бороться.

Любовь — не сила, а слабость, такъ какъ она отказъ человѣка отъ самого себя, перенесеніе центра тяжести изъ личнаго „я“ на чужое „я“, порабощеніе воли чувству и сознанія—инстинкту. И все, что сопутствуетъ любви и вызывается ею — отъ заботъ о чужомъ счастьѣ до послѣдней жертвы собою, — все свидѣтельствуетъ о той же слабости.

Не противорѣчитъ ей та кажущаяся сила, которая какъ будто нужна для самоотверженныхъ поступковъ. Вѣдь и для самоубійства нужна рѣшимость и смѣлость, т.-е. сила. А между тѣмъ развѣ самоубійство не удѣлъ слабыхъ по преимуществу?

Конечно, разные бываютъ самоубійцы и нерѣдко сильный рѣшается тогда, когда слабый не можетъ преодолѣть колебаній. Все дѣло въ томъ, какіе мотивы встрѣчаются и что перевѣшиваетъ.

Сильный покончитъ съ собою ради спасенія чести, а слабый, — чтобы избѣжать неудачъ и страданій, съ которыми онъ не въ силахъ бороться.

И если вѣрно то, что для самоубійства нужна большая физическая смѣлость и большая нравственная трусость, то

слѣдуетъ помнить, что смѣлость и трусость становятся опредѣленными величинами только по сравненію одной съ другой, и по мѣрѣ того, какъ измѣняется одна, измѣняется и другая, и то, что казалось трусостью, можетъ показаться проявленіемъ высшаго мужества, а то, что мы сочли за смѣлость, мы, можетъ быть, всмотрѣвшись снова, заклеймимъ позорнымъ именемъ трусости.

Самоубійца, который предпочелъ смерть позору, былъ какъ будто нравственно трусливъ, такъ какъ побоялся нравственныхъ мукъ и стыда. Но въ сущности онъ былъ лишь вѣренъ тѣмъ строгимъ и суровымъ принципамъ, которые неизвѣстно когда и почему легли въ основу кодекса чести, прошли сквозь тысячелѣтія и какъ неоспоримые догматы были имъ восприняты.

Поэтому коллизія — нравственная коллизія происходила не между страхомъ позора и жаждой жизни, причемъ побѣдилъ бы страхъ, а между жаждой жизни, хотя бы посрамленной, и непреклонными велѣніями чести, требующей нравственнаго искупленія, хотя бы цѣною жизни. И самоубійство его было слѣдствіемъ не нравственной трусости, а нравственнаго мужества, послѣднимъ проявленіемъ благородства, какъ его понимало человѣчество до него и понимаетъ теперь.

Но даже допуская необходимость двухъ моментовъ для самоубійства — физическаго мужества и нравственной трусости — нужно помнить, что о нихъ можно говорить лишь имѣя въ виду самый актъ самоубійства, послѣднее физическое движеніе, которое должно повлечь за собою смерть.

Если даже нужна нѣкоторая рѣшимость, отвага, сила, чтобы сдѣлать такое движеніе, то вполнѣ очевидно, что самый слабый человѣкъ можетъ быть способенъ на него, такъ какъ достаточно мгновеннаго порыва, отчаянія, безумія.

Но мгновенный порывъ не опредѣляетъ человѣка, не измѣняетъ его сути.

И послѣдняя жертва собою, принесенная ради любви, свидѣтельствуя о мгновенномъ физическомъ мужествѣ, не отрицаетъ той слабости, которая лежитъ въ основѣ всякой любви.

Можетъ быть ничто не доказываетъ ее болѣе убѣдительно, чѣмъ та ненависть, та жестокость—до звѣрства, до мучительства, до убійства—которыя такъ тѣсно сплетены съ любовью, давно подмѣчены и до сихъ поръ какъ будто не поддаются объясненію.

Двѣ тайны—любви и жестокости въ любви—противорѣчивыя и тѣмъ болѣе таинственныя, манили своею загадочностью всѣхъ, кто приближался къ нимъ, но не нашли своего Эдипа.

Не нашли, быть можетъ, оттого, что никто не замѣтилъ ихъ первоосновы, ихъ общей первопричины, которая изъ двухъ тайнъ дѣлаетъ одну.

Но если любовь—слабость, если любить значитъ быть слабымъ, стыдясь всякой слабости и все же покоряясь своему униженію, развѣ не понятна затаенная злоба, переходящая въ ненависть, проявляющаяся жестокостью, такъ часто кровожадной?

Развѣ не понятно постоянное сближеніе любви и смерти, самоотверженности, т.-е. жертвы собою и безпощадной жестокости, требующей себѣ жертвы другихъ? И не ясно ли, отчего самыми кровожадными богинями были всегда богини любви въ представленіи народовъ, смутно чувствовавшихъ правду, но не познавшихъ ее до конца?

Не эта ли правда создала образы гордыхъ, могущественныхъ и жестокихъ сладострастницъ, вродѣ царицы Тамары, обрекавшей смерти всякаго, кому она дарила свою любовь?

Конечно, ея любовь была только сладострастіемъ, но не есть ли страдострастіе сущность половой любви, то зерно ея, которое болѣе или менѣе обнажено, но безъ котораго нѣтъ любви, такъ что зерно безъ оболочки все же любовь, а оболочка безъ зерна — безжизненный трупъ, маска, не прикрывающая живого лица, ненужная и безсмысленная?

Можно утверждать, что Тамара требовала смерти своихъ любовниковъ изъ гордости, чтобы никто не могъ похвалиться ея ласками, чтобы скрыть свой грѣхъ. Но не будетъ ли такое объясненіе унизительнымъ для ея гордости, мощи и величавости?

Не прельщалъ бы насъ образъ Тамары, если бы мелкимъ расчетомъ руководилась ея жестокость; если бы за ея безжалостностью скрывалась блудливость робкой души, а не стихійная гордость, не умѣющая мириться съ униженіемъ любви—слабости, стихійнаго влеченія которой она не въ силахъ побѣдить. Такъ что остается ей одно: покоряться любви и мстить своимъ любовникамъ.

Нѣтъ лучшей школы жестокости, чѣмъ рабство; нѣтъ яростнѣе ненависти, чѣмъ ненависть побѣжденнаго; нѣтъ безпощаднѣе мести, чѣмъ месть раба.

Чѣмъ сильнѣе любовь, чѣмъ болѣе порабощается человѣкъ, тѣмъ сильнѣе ненавидитъ свое порабощеніе и того, кто виновникъ его, съ тѣмъ большей злобой и жестокостью вымещаетъ на немъ свою обиду.

И глухая борьба тѣмъ ужаснѣе, проявленія ея тѣмъ неудержимѣе, что ведется она въ тѣхъ глубинахъ души, въ которыя не проникло еще сознаніе, не пролило своего свѣта, разсѣивающаго отвратительные призраки тьмы еще болѣе страшной въ человѣкѣ, чѣмъ ночью вокругъ него.

Подъ темнымъ покровомъ этой мглы скрывается тайна любви и ненависти, единая, но двоящаяся тайна. Ибо въ проявленіяхъ своихъ она двояка и любовь кажется чуждой ненависти и ненависть—чуждой любви, пока ничто не нарушило грознаго равновѣсія, не всколыхнуло въ черной безднѣ побѣжденныхъ, но не усмиренныхъ силъ, не подняло ихъ, и не устремило изъ мглы и бездны къ свѣту и дѣяніямъ.

И не удивлялись бы люди тому, какъ любовь, самая искренняя, сильная и самоотверженная, уступаетъ мѣсто ненависти и жестокости, лишь только почувствуетъ себя оскорбленной, лишь только лишится опоры, которую всегда ищетъ въ отвѣтной любви, еэли бы знали, что любовь есть слабость и что слабость, которая себя стыдится, питаетъ возмущеніе, ненависть и жестокость.

Если бы подумали объ этомъ люди, они бы, можетъ быть, поняли, отчего съ такой враждебностью, чуть ли не съ ненавистью встрѣчаетъ человѣкъ чужую любовь, на которую въ немъ нѣтъ отвѣта.

Чужая любовь—это какъ бы требованіе его любви, угроза, нависшая надъ нимъ, угроза униженія и рабства.

Если есть въ любви отрада, то вѣдь и въ послѣднемъ униженіи, въ послѣднемъ страданіи подчасъ испытывается та же отрада. И развѣ не тѣмъ болѣе жгуче это чувство у любящаго, чѣмъ болѣе онъ подчиняетъ себя, унижаетъ передъ тѣмъ, кого любитъ?

Точно самъ себѣ человѣкъ является врагомъ, самъ углубляетъ свои муки, усиливаетъ свою боль, подчеркиваетъ свое униженіе.

Съ особой яркостью и рѣзкостью описалъ это странное состояніе, это загадочное чувство Эдгаръ По; но не далъ ему объясненія. А объясненіе, повидимому, простое.

Чѣмъ намъ ближе и дороже человѣкъ, чѣмъ больше мы заботимся о немъ и стараемся его оградить отъ страданій, тѣмъ сильнѣе негодуемъ, когда онъ не внимаетъ нашимъ совѣтамъ и дѣйствуетъ наперекоръ намъ. И когда несчастье поражаетъ его, мы сердимся на него тѣмъ больше, чѣмъ намъ непріятнѣе его неудачи и терзанія. Мы радуемся его мукамъ и готовы злорадно подчеркнуть ихъ изъ мести за то, что онѣ и насъ терзаютъ и твердимъ: „Такъ тебѣ и надо, такъ тебѣ и надо“ со злобой и глубокой жалостью.

Такъ точно и наше сознательное „я“ относится къ стихійному „я“, которое не вняло его совѣтамъ и страдаетъ по собственной винѣ.

Поэтому Эдгаръ По неправъ, когда утверждаетъ, что каждый человѣкъ скрываетъ въ себѣ своего злѣйшаго врага.

Не врага, а друга скрываемъ мы въ себѣ.

Но только внѣшнія, замѣтныя, проявленія этой дружбы иногда похожи на проявленія вражды, или другими словами: можно быть врагомъ изъ дружбы.

Но не могутъ любовники не быть врагами, пока не прояснится человѣческое сознаніе и не постигнутъ люди истиннаго смысла любви.

Ибо всякая любовь для нихъ слабость и униженіе, но въ особенности любовь половая, любовь—сладострастіе.

Предоставленная сама себѣ, оторванная отъ всѣхъ другихъ чувствъ человѣка, ни въ чемъ не находя опоры, ни съ чѣмъ ни связуя, возбуждаетъ она лишь быстро угасающія надежды, горькое разочарованіе, злобное возмущеніе, усталость и безразличіе или отчаяніе.

И знаютъ это люди, знаютъ всѣ отъ мала до велика и все-таки пытаются обольстить себя и густой сѣтью лжи окутали свои любовныя влеченія и любовныя похожденія, и

такъ нужна имъ эта ложь, которой научили ихъ поэты, непонятые или непонявшіе. что даже самыя простыя, самыя безхитростныя души не могутъ обойтись безъ прикрасъ и нарядовъ обманчивыхъ словъ и увѣреній.

Я вамъ разскажу незначительный и въ то же время яркій случай, переданный мнѣ однимъ изъ двухъ участниковъ происшествія. Я его разскажу такъ, какъ онъ предсталъ передъ моимъ воображеніемъ сквозь искреннія и простыя слова моего собесѣдника.

— Когда будешь свободенъ... Когда скучно станетъ... Я тебѣ всегда рада.

Онъ зналъ, что ей нравится. Онъ громко себѣ этого не говорилъ, но зналъ, и ему бывало пріятно ощущать расположеніе веселой, красивой, счастливой и чужой ему женщины. Чужой, несмотря на „ты“.

Какъ и когда они перешли на „ты“ ни онъ, ни она не помнили. Но отъ этого ничего не измѣнилось въ ихъ отношеніяхъ и едва ли когда-нибудь измѣнится.

Можетъ быть, если бы онъ не зналъ, что нравится ей...

Есть что-то манящее и обаятельное въ добываніи чужого расположенія, въ скрытой и глухой борьбѣ, въ таинственномъ сплетеніи, то согласномъ, то враждебномъ двухъ воль.

Не цѣнится то, что̀ дается безъ труда и усилій. Жизнь, вся жизнь, должна быть добываніемъ. Надѣяться, вѣрить, желать — это значитъ добывать, напряженно добиваться чего-нибудь.

Пряность жизни и смыслъ ея въ этомъ.

И то, что обычно кажется любовью, только одинъ изъ видовъ этого добыванія. Добываніе чужой привязанности, чужой близости. Истинная любовь не добываетъ и, добывъ, не проходитъ.

Но подъ личиной любви человѣкъ завладѣваетъ человѣкомъ и, завладѣвъ успокаивается и охладѣваетъ.

— Когда будешь свободенъ... Когда скучно станетъ въ городѣ.

Онъ вспоминалъ свѣтлую улыбку, беззаботную, бездумную

улыбку простой, довольной жизнью и людьми и собою женщины, и его потянуло къ ней.

Отчего потянуло, онъ ясно не сознавалъ и не пытался понять.

Казалось заманчивымъ побывать у нея на дачѣ, проѣхаться по желѣзной дорогѣ. Безъ цѣли, безъ умствованій, спокойно и просто

Утомительно думать, вѣчно чего-то хотѣть, вѣчно чего-то добиваться.

Хотя бы на мигъ что-нибудь безцѣльное, въ чемъ нечего искать и не къ чему стремиться...

Солнце блеснуло въ окна вагона...

Въ сущности погода не имѣла значенія. Но ему все-таки было пріятно яркое солнце и синее небо. Оно само по себѣ и онъ самъ по себѣ. Но пусть будетъ и кругомъ все свѣтло и радостно. Чужая грусть или хмурость, даже безразличныя, мѣшаютъ...

За городомъ было тихо. Спокойной тишиной, за которой не таилась угроза шума. Было ясно, свѣтло. Даль казалась безграничной и открытой.

Никакихъ загадокъ, никакихъ тайнъ, никакихъ темныхъ угловъ. Все, какъ на ладони. Природа — и земля, и небо, и озеро — говорила: я вся тутъ, вся на виду, вся, какъ есть.

И она, та, къ которой онъ ѣхалъ, была свѣтла и открыта, какъ природа.

Въ бѣломъ, румяная и веселая, она, казалось, тоже говорила: я вся тутъ, вся, какъ есть.

И цѣлуя ея руки, онъ подумалъ — даже не подумалъ, а только смутно почувствовалъ — что сегодня и она ему нравится, нравится своимъ счастьемъ, своей бездумностью и простотой, всѣмъ тѣмъ, что было ему чуждо и было чуждо

другимъ, кого онъ любилъ, и что онъ пріѣхалъ не къ ней, а за ней.

Онъ взглянулъ на нее, стараясь прочесть въ ея глазахъ, что она думаетъ о его посѣщеніи, и, не выпуская ея руки, онъ потянулъ ее къ себѣ.

Она радостно засмѣялась.

— Что съ тобой? Что ты смотришь?

Онъ держалъ ея руку и всматривался въ ея глаза, такъ близко склонившись къ ней, что его усъ коснулся ея щеки.

Она откинула голову, покраснѣла, но ничего не сказала. И когда, испытывая ее, онъ приблизилъ свои уста къ ея устамъ, она не отвернулась, не противилась, а просто и покорно приняла его первую ласку.

— Я пріѣхалъ... до завтра, — тихо проговорилъ онъ. — Можно?

Она молча кивнула головой, выскользнула изъ его рукъ и побѣжала на террасу. Довольный и радостный — такимъ онъ давно не помнилъ себя — пошелъ онъ за ней.

Онъ чувствовалъ полное удовлетвореніе. Ничто не безпокоило его, никакія смутныя мысли не копошились въ его умѣ, никакія неясныя ощущенія недовольства не отравляли его счастья. Все было просто, прекрасно и ясно, какъ свѣтлый день, какъ зеленый садикъ, какъ ровная гладь прозрачной воды.

Въ приливѣ неожиданной и умилявшей его нѣжности онъ искалъ ласковыхъ и отрадныхъ словъ, мысленно называлъ ее „милой, хорошей“ и не рѣшался почему-то громко повторить „милая, хорошая“ и не находилъ ничего другого.

Оба молчали и все кругомъ молчало...

Какъ-то сразу обоимъ захотѣлось выйти, пройтись, двигаться среди деревьевъ, зелени, воды и тишины, и тихаго свѣта.

— Пойдемъ погулять, — сказала она.

Онъ вынулъ портсигаръ и закурилъ папиросу.

Привычный жестъ распуталъ чары. Привычный жестъ и движеніе.

Они пошли рядомъ, согласные, молодые, радуясь жизни и ощущая ее въ себѣ и вокругъ себя.

— Милая, хорошая, — заговорилъ онъ, обращаясь къ ней, но не глядя на нее. — Ты не можешь себѣ представить, какая отрада, какая прелесть въ простотѣ. Просто жить, дѣйствовать, отзываться на чужія рѣчи и чувства — какъ это красиво! Какъ успокоительно! Всѣ мы, всѣ, кто подобенъ мнѣ, ищемъ какую-то неуловимую правду, допытываемся, погружаемся въ сложность и бездонность душъ, и не замѣчаемъ того, что правда, настоящая правда, ближе, всѣмъ доступна, у всѣхъ на-виду. Приди и возьми. А мы проходимъ мимо. Мы думаемъ, что правда скрывается, что за ней нужно устремляться въ дебри лѣсныя, по извилистымъ, неудобнымъ и темнымъ тропинкамъ. А она всегда на опушкѣ, тамъ, гдѣ свѣтло, куда подойти легко каждому.

Намъ скучно находить ее безъ труда. Мнѣ нужно было устать и измучиться въ безплодныхъ поискахъ, устать отъ блужданій въ дебряхъ своей души и чужихъ душъ, чтобы съ отрадой и тихой радостью постигнуть прелесть всего простого, естественнаго и безхитростнаго.

Онъ бросилъ докуренную папиросу, на мгновеніе ощутилъ тревогу, точно выпустилъ изъ рукъ что-то нужное; но сразу, быстрымъ усиліемъ сознанія, успокоилъ себя.

По обѣимъ сторонамъ дорожки тянулся рѣдкій вычищенный лѣсъ. Пахло сосной, землей, травой, солнцемъ. Пахло сочно, густо, вкусно. И какъ легкая приправа, тонкой струей вился, рѣзвясь, изящный и стройный ароматъ женскихъ духовъ.

Она жадно вдыхала свѣжій, чистый воздухъ и прислушивалась къ тихимъ рѣчамъ, не столько къ ихъ смыслу, сколько къ ихъ намѣренной ласкѣ.

Онъ ей нравился давно, нравился за то, что уменъ, все понимаетъ, какъ будто надо всѣмъ смѣется, а въ сущности,— она это смутно ощущала — вѣчно неудовлетворенъ, недоволенъ и несчастливъ.

Она знала женщинъ, которыхъ онъ любилъ и которыя любили его, жалѣла ихъ и его за вѣчныя недомолвки и взаимныя терзанія и хотя онъ ей нравился, не завидовала имъ. Она была искренно довольна своей судьбой. Искренно и вполнѣ.

Когда-то въ минуту раздраженія, онъ попробовалъ нарушить ея спокойное довольство и возбудить мысли о возможности иной, болѣе желанной, болѣе заманчивой жизни.

— Если бы тебѣ предложили начать жизнь сначала, какъ бы ты устроила ее? — приставалъ онъ къ ней.

— Такъ же, какъ она теперь устроилась, — невозмутимо отвѣчала она.

— И ничего, ничего не измѣнила бы въ ней?

— Ничего... Только квартиру взяла бы, пожалуй, не ту... А то въ новомъ домѣ очень ужъ сыро...

— А любовника другого не взяла бы? — желчно пробурчалъ онъ. Ему тотчасъ же стало совѣстно и онъ пояснилъ: „Вѣдь ты его не любишь“.

— Не знаю, — протянула она, нисколько не оскорбившись. — Не знаю, люблю или нѣтъ. Но мнѣ хорошо.

Добрая, независтливая, незлобивая, она никогда не мечтала, и жизнь поэтому не имѣла для нея разочарованій.

— Ты не живешь, а прозябаешь, — дразнилъ онъ ее. — Ты, пожалуй, даже не сознаешь того, что ты красива. А если сознаешь, то, вѣроятно, такъ же пассивно и бездумно, какъ вотъ эта махровая роза, неизвѣстно отчего болѣе пышная, чѣмъ другія.

Она только улыбалась и увѣряла его, что считаетъ себя очень красивой и очень довольна тѣмъ, что красива.

Размахивая тростью, сбивая камешки изъ-подъ ногъ, то

направо, то налѣво, онъ продолжалъ говорить, не думая о томъ, слѣдитъ ли она за нимъ, понимаетъ ли она его, интересно ли ей его слушать.

Онъ чувствовалъ потребность высказаться передъ человѣкомъ, въ чьемъ расположеніи онъ былъ увѣренъ, у кого не было ни заботъ, ни тревогъ, ни скорби, которыя бы поглощали всѣ мысли, все вниманіе и отвлекали ихъ отъ того, что тревожило и занимало его.

Онъ радовался тому, что она весела и счастлива, такъ же, какъ нѣсколько часовъ назадъ обрадовался солнцу, блеснувшему въ окна вагона.

Пусть кругомъ все будетъ въ порядкѣ, все будетъ хорошо, чтобы ничто не заявляло своихъ правъ на вниманіе и сочувствіе и не отнимало у него части этого вниманія и сочувствія. И не замѣчалъ, сколько черствaго эгоизма было въ этомъ чувствѣ.

— И въ любви, какъ во всемъ остальномъ, мы самовольно ослѣпляемъ себя, обманываемъ, ищемъ ее тамъ, гдѣ ея нѣтъ и не хотимъ просто и прямо подойти къ ней. Любовь—это желаніе. Между женщиной и мужчиной, конечно. Вообще мы любовью называемъ самыя разнородныя чувства. И совершенно запутались въ нихъ и въ ней. Но между женщиной и мужчиной любовь—это жажда обладанія. Больше ничего. Не бываетъ между ними любви безъ желанія. Но это для насъ слишкомъ просто. И мы лжемъ себѣ и другимъ, осложняемъ простое, извращаемъ его, тѣшимъ себя какой-то хитроумной игрой съ неизвѣстными правилами, игрой сложной, трудной, подчасъ мучительной и неизмѣнно оканчивающейся тѣмъ самымъ, съ чего она могла бы начаться.

Кто первый солгалъ и почему—я не знаю. Но теперь мы вамъ лжемъ, потому что вы этого отъ насъ хотите. А

хотите вы этого отъ насъ, потому что мы васъ къ этому пріучили.

Лжемъ мы непрестанно, не замѣчая или почти не замѣчая этого, лжемъ невольно, безъ злого умысла, съ лучшими намѣреніями и, чѣмъ больше увлечены, чѣмъ искреннѣе увлечены, тѣмъ больше лжемъ.

Если бы кому-нибудь было дано услышать всѣ любовныя рѣчи, всѣ любовныя признанія на всемъ земномъ шарѣ за одинъ только часъ, онъ никогда больше не говорилъ бы о любви, такъ какъ, что бы онъ ни сказалъ, ему всегда казалось бы, что онъ только повторяетъ то, что милліоны устъ почти дословно повторяли другъ за другомъ.

Если бы кому-нибудь пришлось увидѣть, къ чему привели всѣ увлеченія, всѣ увѣренія самой чистой, самой глубокой, самой возвышенной любви, услышанныя имъ во всемъ мірѣ, онъ бы никогда больше никого не увѣрялъ въ любви, чистой и глубокой, и съ горькой или злобной насмѣшкой встрѣчалъ бы или обрывалъ нѣжныя рѣчи на устахъ самой дорогой ему женщины.

Рѣдко кто достаточно смѣлъ, чтобы презрѣть ложь, достаточно силенъ чтобы полюбить правду, достаточно искренненъ и простъ и цѣленъ, чтобы понять ея красоту. И за то, что ты именно такова, предъ тобой должно преклониться, тебя нужно почтить восторженно и громко.

Ей было пріятно и лестно. Ей хотѣлось сказать что-нибудь, показать, что она понимаетъ и согласна, что она сама цѣнитъ это въ себѣ, но она не знала, какъ это сдѣлать и шла молча, съ сильно бьющимся сердцемъ и покраснѣвшими щеками. Лѣвая туфля у нея развязалась и тесемки заплетались подъ высокимъ каблукомъ и мѣшали ступать, но она не рѣшалась остановиться и прервать согласную равномѣрность рѣчи и шаговъ.

— Ты думаешь, я поступалъ иначе, чѣмъ всѣ другіе? Ты думаешь, что я, сознающій всю эту ложь и всю безполезность этой лжи, не лгалъ?—Лгалъ, лгалъ какъ всѣ, лгалъ всѣмъ и себѣ, лгалъ каждый разъ, когда увлекался кѣмъ-нибудь. И каждый разъ, безъ одного исключенія, каждый разъ, послѣ многихъ дней, недѣль или мѣсяцевъ, самыхъ красивыхъ, самыхъ утонченныхъ, самыхъ глубокихъ разсужденій о любви, признаній въ любви, изъ-за всѣхъ призраковъ, самыхъ заманчивыхъ, самыхъ обаятельныхъ, подымалась правда, отъ которой мы бѣжали, незамѣтно направляясь къ ней, и тамъ, гдѣ, какъ я утверждалъ, ждала насъ любовь, насъ ждало обладаніе. Каждый разъ. Неизмѣнно. Но и предъ лицомъ правды мы продолжали лгать, притворялись, что не видимъ ея, не понимаемъ, старались представить ее иначе, не такъ какъ она есть, выдвигали новые призраки, запирались въ комнатахъ, спускали шторы, затягивали портьеры и при свѣтѣ электричества громко убѣждали другъ друга, какъ Джуліетта Ромео, что „день еще не насталъ, что ночь еще не прошла, что не жаворонокъ поетъ, а сладкозвучный соловей“...

Они вернулись на дачу. Красное солнце заходило за лѣсомъ. Сумерки, сначала робкія и блѣдныя, но быстро сгущавшіяся, крѣпнувшія и дѣлавшіяся все болѣе и болѣе смѣлыми, подступали извнѣ къ окнамъ, подымались изнутри, завладѣвали комнатами.

Понемногу терялись очертанія предметовъ. Вмѣсто столовъ и стульевъ виднѣлись какія-то безформенныя массы, таинственныя, загадочныя.

Таинственно и загадочно становилось въ саду. Деревья казались сказочными великанами. Кусты и грядки съ цвѣтами точно причудливые гномы темнѣли по землѣ. Луны не было видно, но безчисленныя звѣзды мелькали въ выси,

точно маленькіе огни, пробившіеся сквозь темную завѣсу неба.

Были тихо, но не дневной тишиной, а особой, новой, тоже таинственной.

Что-то недосказанное, неясное, сложное чудилось повсюду, и тревожило, и настраивало души на новый ладъ...

Послѣ обѣда они вышли на террасу и въ темнотѣ, рядомъ, прислонились къ периламъ.

Какая-то новая мысль тревожила ее и она хотѣла спросить и не рѣшалась.

Они долго, молча, вглядывались въ темноту, разгадывали неясное и чувствовали, какъ оно проникаетъ въ нихъ смутнымъ настроеніемъ.

— Сколько звѣздъ! Сколько звѣздъ!—прошептала она. И неожиданно спросила:—Ты много любилъ?

Онъ не отвѣчалъ.

Занятая своими мыслями, она не ждала его отвѣта.

— Ты всегда любилъ одинаково?

— Что ты хочешь сказать?

Она заволновалась. — Когда ты любилъ, ты всегда старался вѣрить, что любовь не только желаніе, не только жажда обладанія, а что-то другое, болѣе сложное и таинственное?

— Я вѣдь тебѣ говорилъ, что я лгалъ и обманывалъ, какъ другіе, какъ всѣ.

— И ни разу, ни одной женщины, ты не пожелалъ просто, откровенно, честно?

Онъ подумалъ.

— Кажется, ни одной. По крайней мѣрѣ, не помню. Если что-нибудь такое и было въ моей жизни, то прошло безслѣдно.

— А другихъ, всѣхъ, кого ты любилъ, ты помнишь?

— Помню... Всѣхъ...

— И... вспоминаешь?

— Да... по временамъ.

— Вспоминаешь - какъ? Сочувственно, радостно или враждебно?

— Кой-кого равнодушно; другихъ - съ нѣжной грустью или радостью; никого не вспоминаю съ враждою.

— Никого?..

Опять они долго молчали, вглядываясь въ темноту.

Онъ удивлялся ея разспросамъ, но какая-то странная не то лѣнь, не то усталость мѣшала ему сдѣлать усиліе, пошевельнуться, заговорить, узнать въ чемъ дѣло.

Откуда-то, со стороны, вдругъ показалась луна, и освѣтила бѣлымъ свѣтомъ мракъ, неподвижныя деревья, склоненную на руки голову бѣлой женщины.

Онъ посмотрѣлъ на нее.

Она почувствовала на себѣ его взглядъ, и, не поворачивая головы, не двинувшись съ мѣста, беззвучно, чуть слышно проговорила:

— Значитъ, не такъ ужасна, не такъ ненужна, не такъ безцѣнна ложь въ любви, если, несмотря на нее... или можетъ быть, благодаря ей... ты сохранилъ отрадныя воспоминанія о всѣхъ прошлыхъ увлеченіяхъ...

Было что-то таинственное и манящее въ неясной полутьмѣ лунной ночи и та же манящая таинственность звучала въ нерѣшительныхъ словахъ.

Онъ не зналъ, что отвѣчать. Да и нечего было отвѣчать. Она стояла рядомъ съ нимъ, бѣлая и красивая, слегка наклоненная впередъ, навстрѣчу тайнѣ, которую принесла съ собою ночь. Онъ тихо обнялъ ее и притянулъ къ себѣ. Но она отстранилась, высвободилась и отошла къ дверямъ гостиной.

Не то удивленный, не то раздосадованный, онъ выпрямился и шагнулъ за ней.

— Что это значитъ?

Онъ подошелъ къ ней и протянулъ руки.

— Вѣдь ты знаешь зачѣмъ я пріѣхалъ. Вѣдь ты согласна. Вѣдь мы съ тобой не хотимъ лжи, умѣемъ обойтись безъ нея, не боимся правды... Вѣдь мы съ тобой... по простому...

Онъ ловилъ ея руки, наклонялся къ ней. Она перестала сопротивляться, и печальная и безвольная слушала его.

— Подумай только, какъ это красиво, хорошо... и просто... Мы оба свободны. Я нравлюсь тебѣ. Ты мнѣ мила. И познавъ въ себѣ свое влеченіе, каждый слѣдуетъ ему свободно, добровольно, правдиво... Не надо прикрасъ, ни глупыхъ сказокъ о любви... И когда настоящее станетъ прошлымъ, мы будемъ съ радостью и гордостью вспоминать о немъ, какъ о мгновеніи, когда исполнились лучшія наши желанія и больше желать было нечего... Я хочу тебя и теперь ничего другого и никого другого не хочу... А ты?.. А ты?..

Бѣлая въ своемъ бѣломъ платьѣ, покорная и печальная, она подняла голову, взглянула ему прямо въ глаза: „Я бы хотѣла... чтобы ты любилъ меня такъ... какъ ты любилъ другихъ... тѣхъ... кого ты... любилъ...

И въ отрывистыхъ словахъ было столько искренней скорби, что онъ выпустилъ ея руки и отступилъ отъ нея съ внезапнымъ и жуткимъ чувствомъ виновности, хотя въ ту минуту затруднился бы сказать, въ чемъ была его вина.

Вина его была въ томъ, что онъ прежде лгалъ и въ томъ, что тогда не хотѣлъ солгать.

Разъ онъ лгалъ до тѣхъ поръ, какъ лгутъ всѣ, то не могъ не лгать и тогда. А всѣ, кто лжетъ въ любви, неправы. И нельзя ссылаться на поэтовъ.

Ибо правы поэты, воспѣвающіе любовь хотя любовь на землѣ, среди людей, не такова, какою они ее изображаютъ. Правы они потому, что вѣрны себѣ и искусству, когда творятъ не то, что есть, а то, чего они желаютъ или чему вѣрятъ; и потому еще правы, что прозрѣваютъ истинный смыслъ любви сквозь лживыя и уродливыя ея формы.

И, какъ поэты, правъ Христосъ, раскрывшій смыслъ любви, забытый людьми или еще непознанный ими.

Пророкъ униженія, смиренія и слабости, Онъ указалъ человѣчеству, что есть спасеніе и на этомъ пути, если сознательно избрать его и быть слабымъ и униженнымъ не изъ малодушія, безсилія и противъ воли, а захотѣть этого и самовольно избрать такой удѣлъ.

До Него одинъ лишь путь считался достойнымъ человѣка. Казалось, что самоутверждается человѣкъ лишь въ силѣ своей, въ превосходствѣ надъ другими.

Христосъ училъ людей понять и оцѣнить и другой изъ двухъ возможныхъ путей, объяснялъ имъ, что самоотреченіе, смиреніе, покорность могутъ проявлять ту же сознательную волю человѣка, утверждать его личность.

Важно не то, царь я или рабъ. Себѣ ли я вѣренъ, когда всхожу на престолъ или когда склоняюсь во прахъ,—вотъ что мнѣ должно знать, вотъ о чемъ вопрошаетъ моя совѣсть.

До Христа знали одну только любовь, соединявшую двоихъ и одиночество одного замѣнявшую одиночествомъ вдвоемъ, причемъ и эти двое оставались раздѣльны и чужды

Христосъ училъ о любви соединяющей всѣхъ, рождающейся не въ безсознательныхъ влеченіяхъ, а въ свѣтломъ прозрѣніи, и являющейся не столько опредѣленнымъ чувствомъ, сколько общимъ настроеніемъ души, атмосферой, которой напитываются всѣ чувства человѣка.

Эта любовь могла быть не только любовью къ комунибудь, къ тому или другому, къ одному, или ко многимъ, но опредѣленнымъ личностямъ, но и любовью ко всѣмъ,

безличной, общей, любовью съ опредѣленнымъ субъектомъ и неопредѣленнымъ объектомъ. До Него не было любви безъ опредѣленнаго объекта.

Объектъ стоялъ на первомъ мѣстѣ.

А теперь важенъ сталъ субъектъ, ибо человѣкъ могъ жить въ любви, создать въ себѣ атмосферу любви, не обращенной ни къ кому въ особенности, а къ человѣчеству и вселенной вообще.

Она связывала, а не раздѣляла, объединяла, а не дробила, подымала на крыльяхъ радости и восторга, а не клонила внизъ подъ тяжестью соболѣзнованія, жалости, или скорби надъ чужою скорбью.

До Христа любовь была самоутвержденіемъ въ томъ смыслѣ, что ради себя любилъ человѣкъ, ища въ другомъ поддержки себѣ. И девизомъ ея было: я—цѣль, а другіе—средство.

Девизомъ новой любви стало: я—средство, а цѣль—Богъ.

Прежній путь любви сквозь чужое „я“ къ личному „я“ дополнялся новымъ: черезъ личное „я“ къ „я“ міра, къ Богу.

Такимъ образомъ, Онъ возстановлялъ равновѣсіе, утверждалъ равноцѣнность второго пути, отвергаемаго и презираемаго, подымалъ, оправдывалъ, увѣнчивалъ вѣнцомъ возможныхъ подвиговъ всѣхъ униженныхъ и несчастныхъ и, чтобы нагляднѣе явить имъ сокровенную тайну мірового равновѣсія, не новое слово принесъ имъ и не новое чувство, а лишь иное пониманіе ихъ, которое не отрицало прежняго, но самоутверждалось рядомъ съ нимъ.

Ибо любовь могла быть въ томъ, чѣмъ жила Марія-Магдалина до встрѣчи съ Христомъ, и любовью было то, чѣмъ жила она послѣ этой встрѣчи.

И любовь заставила Христа отречься отъ Матери и братьевъ, и любовью движимъ тотъ, кто жизнь свою отдаетъ, защищая ихъ.

И незамѣтно сближалась любовь съ вѣрой и оправдывалась любовь и освящалась.

Вѣра — слабость какъ и любовь, потому что въ ней проявляется то же сознаніе недостаточности человѣка для себя.

Когда сознаніе это само въ себѣ замыкается, человѣкъ похожъ на глупца, который, задыхаясь въ спертомъ воздухѣ теплаго дома, бродитъ изъ комнаты въ комнату, не рѣшаясь открыть окно, или выйти на улицу. Тогда вѣра становится кошмаромъ и любовь болѣзнью.

Но сознаніе слабости, недостаточности человѣка для себя—отблескъ вѣчной правды, вѣрнѣйшій залогъ связи человѣка съ Богомъ, свѣточъ, озаряющій путь изъ этого міра въ міръ иной.

Тутъ слабость не недостатокъ, а сознаніе человѣкомъ своей недостаточности, сознаніе утраченной цѣльности. Вѣра и любовь лишь слѣдствіе этого сознанія, такъ какъ онѣ— исканіе первоначальнаго единства, утвержденіе связи съ Богомъ и жажда сліянія съ Нимъ.

Двоякимъ путемъ стремится человѣкъ къ этому сліянію: путемъ вѣры, т.-е. любви къ Богу и путемъ любви, т.-е. вѣры въ человѣка, какъ носителя Божества.

Черезъ Бога къ людямъ или черезъ людей къ Богу.

Особенно знаменателенъ для насъ путь любви, такъ какъ два различные пола какъ бы символы первоначальнаго распада и желаннаго сліянія и съ убѣждающей наглядностью свидѣтельствуютъ о несомнѣнной трагичности разъединенія и жаждѣ преодолѣнія его, неутоленной и можетъ быть неутолимой.

Объ этомъ очень трудно говорить, потому что слова слишкомъ опредѣленны и реальны, т.-е. слишкомъ связаны съ предметностью, съ житейскимъ, соотвѣтствуютъ не бытію, а быту. И всѣ возможныя догадки въ этой области не соотвѣтствуютъ даже научнымъ гипотезамъ, потому что не

покрываютъ всѣхъ эмпирическихъ фактовъ, объяснить которыя должны.

Ни отожествленіе женственнаго начала съ началомъ половымъ, ни сближеніе послѣдняго съ началомъ матеріи, ни установленіе точной связи между плотью, матеріей, чувственностью и женственностью и противоположеніе ихъ мужественности, духу, творческой мощи, несмотря на всю заманчивость такихъ обобщеній и разграниченій, не могутъ быть приняты,—какъ противорѣчащія тѣмъ или инымъ явленіямъ эмпирической дѣйствительности,—или должны быть оставлены подъ сомнѣніемъ, какъ не дающія объясненія другимъ.

Въ этомъ смыслѣ наиболѣе другихъ допустимо отожествленіе женственнаго начала съ началомъ матеріи, безъ которой не можетъ быть творенія, а мужественнаго—съ началомъ формирующей мощи, безъ которой нѣтъ творчества.

Что касается пола, то его загадочная сущность — повидимому не совпадаетъ ни съ однимъ изъ двухъ основныхъ міровыхъ началъ и, вѣроятно, непонятнымъ для насъ образомъ соприкасается и тому и другому, является составнымъ элементомъ обоихъ и только, очевидно, въ соотвѣтствіи съ особенностями и назначеніемъ каждаго, распредѣлена неравномѣрнымъ образомъ между началомъ женственнымъ и началомъ мужественнымъ, которыми и взаимодѣйствіемъ которыхъ обусловленъ и творится міръ.

Тайна пола можетъ быть только прозрѣваема, а не разгадана.

А между тѣмъ она лишь отраженіе тайны бытія. Обѣ тайны связаны. Обѣ тайны, можетъ быть, одна тайна, какъ ликъ, обращенный къ зеркалу и отраженный въ немъ,—одинъ и тотъ же ликъ, хотя и вдвойнѣ и двояко видимый.

Но вы не думали объ этомъ въ тотъ вечеръ, когда сестра предложила вамъ исключить любовь изъ возможныхъ между вами отношеній и вы безъ малѣйшаго колебанія и чуть ли не съ радостью изъявили свое согласіе и связали себя обѣщаніемъ.

Чего оно стоило—вы давно и лучше меня знаете. И нарушить его не было большимъ преступленіемъ, тѣмъ болѣе, что сестра, которой вы дали свое слово, только и мечтала о томъ, чтобы вы взяли его назадъ.

Къ тому же вы были молоды, и молодости опрометчивость простительна.

А все таки мнѣ хотѣлось бы знать, не испытали ли вы когда-нибудь, не испытываете ли вы теперь, когда вспоминаете этотъ вечеръ, легкое смущеніе, то непріятное чувство стыда и внутренней брезгливости, которое заставляетъ человѣка передернуть плечами и встряхнуться, точно отъ прикосновенія къ его тѣлу какого-нибудь омерзительнаго существа?

Или вы до сихъ поръ не познали, до чего унизительна эта лживая игра любовью, это вѣчное самообманываніе и обманываніе другихъ, посредствомъ которыхъ мы пытаемся заглушить тайный страхъ и тайную вражду, которые возбуждаемъ другъ въ другѣ взаимными происками любви?

Недостойная ложь, унизительная игра.

И не вдвойнѣ ли унизительная тамъ, гдѣ она облекается ризами благородства, тамъ, гдѣ самообманъ доходитъ до самоудовлетворенія и люди гордятся мнимымъ великолѣпіемъ

рѣшеній или поступковъ прямо противоположныхъ тому, чѣмъ они хотятъ ихъ вообразить?

Сестра была замужемъ, и вы это знали. Болѣе того: она не покинула бы мужа ради васъ, и вы не захотѣли бы увести ее отъ мужа.

Заранѣе, хотя для васъ самихъ незамѣтно, т.-е. безсознательно, и она и вы расцѣнили существующее и возможное, установили сравнительное значеніе и того и другого и тѣмъ самымъ—предѣлы своимъ прихотямъ и дерзаніямъ.

Я говорю: „безсознательно", такъ какъ сознательной расцѣнки вы не производили и даже въ ту минуту едва ли отдали себѣ отчетъ во всѣхъ этихъ сложныхъ переживаніяхъ, взвѣшиваніяхъ, сопоставленіяхъ и выводахъ.

Но гдѣ-то въ вашемъ мозгу, молчаливая память, какъ покорный и точный писецъ, отмѣтила ихъ неуловимыми знаками и черезъ много лѣтъ вы вспомнили ихъ, не зная, что вы вспоминаете, и думая, что ваши мысли впервые останавливаются на нихъ.

Вамъ казалось тогда, что вы взвѣшиваете и рѣшаете; но все было уже предрѣшено, помимо васъ въ настоящемъ, — вами, кѣмъ-то, кто былъ вами когда-то.

Я не знаю, кто первый нарушилъ договоръ, кто первый пожелалъ его нарушить.

Мнѣ кажется, что оба вы скоро и просто забыли его.

Это должно быть и было первымъ его нарушеніемъ.

Вы его не замѣтили, такъ какъ въ сущности не придавали особаго значенія ни предложенію сестры, ни вашему обѣщанію. И мнѣ кажется,— но конечно трудно утверждать за другихъ, — что и сестра и вы, сами того не зная, лишь искали въ тотъ вечеръ удобнаго предлога, чтобы заговорить о любви, и нашли его въ торжественномъ и громогласномъ отказѣ отъ нея.

Къ тому же тайный договоръ связывалъ васъ не только взаимнымъ обѣщаніемъ, но еще болѣе своей тайной, тѣмъ, что никто кромѣ васъ двоихъ, не зналъ о немъ, не долженъ былъ о немъ знать и, такимъ образомъ, онъ невольно заставлялъ васъ противополагать всѣмъ другимъ, всѣмъ людямъ, себя и ее, ее и себя.

Можетъ быть ничто въ мірѣ такъ не сближаетъ, такъ не связуетъ, какъ общая тайна. Можетъ быть оттого любитъ ближняго лишь тотъ, кто читаетъ въ его душѣ, и несравнимая ни съ чѣмъ мягкая благость Христа была лишь высшимъ пониманіемъ, связывавшимъ Его съ людьми, привязывавшимъ людей къ Нему неразрывными узами.

Часъ за часомъ, день за днемъ проходила жизнь, богатая не событіями, а безчисленными незамѣтными поступками, словами, ощущеніями, мыслями.

Они устилаютъ ту широкую ленту дороги, въ видѣ которой намъ представляется время, отъ прошлаго къ грядущему, и въ каждое мгновеніе мы можемъ обернуться лицомъ назадъ или впередъ и воображать то, что было, или то, что будетъ.

Между тѣмъ и другимъ въ каждый опредѣленный мигъ нѣтъ большой разницы. Правда, одного *уже* нѣтъ, другого *еще* нѣтъ. Но это не такъ важно, какъ то, что и того, и другого — *нѣтъ*.

И кто не испыталъ той особой дразнящей и манящей жуткости, когда, вспоминая что-нибудь имъ пережитое, искушалъ себя нарочнымъ сомнѣніемъ: а можетъ быть этого въ дѣйствительности не было вовсе, и я не вспоминаю, а воображаю вымышленное? И кто не чувствовалъ безсилія памяти передъ сомнѣніемъ, бездоказательности „да“ передъ недоказуемымъ „нѣтъ“, очевидно лживымъ, но такимъ возможнымъ, что нарочное сомнѣніе временами становится

искреннимъ и съ меньшей убѣжденностью повторяешь: „а все таки это было“ и почти вѣришь завѣдомо лживому шепоту: „не было, не было, не было“?

Я увѣренъ, что не разъ останавливались вы въ невольномъ смущеніи передъ образами прошлаго, пережитаго вами, но до того безслѣдно и окончательно утраченнаго, что единственнымъ доказательствомъ его дѣйствительности когда-то было то необъяснимое, неосязаемое, неподдающееся провѣркѣ изображеніе его, которое мы называемъ воспоминаніемъ и приписываемъ памяти, независимой отъ насъ, непознанной и непонятной.

Воспоминаніе или вымыселъ? Память или воображеніе? Было или привидѣлось? Пережито или снится?

Я, конечно, далеко не все знаю. Но то, что я вамъ разсказываю, извѣстно и вамъ, и взаимно провѣряя и поддерживая другъ друга, мы можемъ твердо и увѣренно заявить: „было“ и не страшиться враждебнаго шепота искушенія и отрицанія.

Всего, что было, въ строгой послѣдовательности пережитой жизни, и вы теперь не помните и не возсоздадите. Но я настолько хорошо знаю и васъ и сестру, что не боюсь ошибиться по крайней мѣрѣ въ существенныхъ чертахъ и моментахъ вашего романа. Какъ жаль, что ни вы, ни сестра не написали его, хотя бы въ видѣ дневниковъ.

Искренній дневникъ, даже самаго заурядnаго человѣка, можетъ быть богатъ откровеніями. А вы оба далеко незаурядные люди. Но зато, можетъ быть, и не умѣете быть искренними? И моя частичная освѣдомленность, пожалуй, оказалась бы правдивѣе вашихъ возможныхъ признаній.

Скажу вамъ откровенно, что ваши свиданія съ сестрой и разговоры, которые вы съ ней вели и которыхъ я не слышалъ, мнѣ довольно безразличны.

Я охотно допускаю, что не было въ нихъ ни обыденности ни пошлости.

Но въ сущности не все ли равно, какими окольными путями вы шли отъ неизмѣнной точки отправленія до неизбѣжной цѣли? Отъ перваго сближенія до послѣдняго откровеннаго признанія? И если для выясненія и опредѣленія каждой отдѣльной личности, избранный человѣкомъ путь, его жесты и слова въ высшей степени важны и показательны,—они, съ другой стороны, теряютъ всякое значеніе, когда настолько знаешь человѣка, что въ каждомъ случаѣ можешь себѣ представить, какъ онъ долженъ былъ поступить и что сказалъ.

Вы, можетъ быть, и теперь, несмотря на давность, почувствовали бы острый уколъ возмущенія, если бы я просто

и кратко, въ нѣсколькихъ словахъ, изложилъ сущность вашихъ бесѣдъ, о которыхъ вы сохранили смутное, но не лишенное мягкаго очарованія воспоминаніе.

Оно остается вашимъ лучшимъ оправданіемъ, безполезнымъ лишь оттого, что никто васъ не обвиняетъ. Я, по крайней мѣрѣ, далекъ отъ подобной мысли.

Если ваши воспоминанія вамъ отрадны, если окольные пути казались вамъ тогда и кажутся теперь красивыми, то конечно, вы были правы, избравъ ихъ. Первая обязанность человѣка сдѣлать свою жизнь радостной и красивой. Если онъ не умѣетъ или не въ силахъ сдѣлать свою жизнь такой, неужели не безуміе думать, что онъ можетъ украсить или облегчить чужую? Не говоря уже о томъ, что по чужой мѣркѣ ни для кого не скроишь счастья и по чужимъ вкусамъ не создашь красоты.

Поэтому вы были правы. Но только для себя, а не „вообще". Ваша правота ничего по существу не измѣняетъ, такъ какъ правота и правда два понятія несоизмѣримыя.

И вашъ романъ—не обижайтесь—самый простой и обыденный романъ.

Всѣ романы въ послѣдней сущности своей донельзя просты и обыденны.

Сложными бываютъ только странныя сцѣпленія обстоятельствъ. Или же сопутствующія событіямъ внутреннія переживанія людей. Но внѣшнія перипетіи имѣютъ только анекдотическій, второразрядный интересъ. А внутреннія переживанія стоятъ съ событіями не въ причинной связи. Событія для нихъ всегда только поводъ.

И поэтому, чтобы сохранить истинное соотношеніе между ними и раскрыть по мѣрѣ возможности ту человѣческую правду, исканіемъ и проблесками которой отмѣчены всѣ

лучшія произведенія, нужно подчинять событія переживаніямъ—сердца или ума—удѣлить первымъ самую маленькую строго необходимую, чисто служебную роль, и все вниманіе посвятить вторымъ.

Во всѣхъ написанныхъ романахъ, которые кажутся мнѣ значительными, несмотря на возможные недостатки, менѣе всего значительны событія. Настолько незначительны сами по себѣ, что почти всегда можно измѣнить или исключить главное событіе, не уменьшая ни интереса. ни значительности самаго романа.

Главное событіе почти всегда необходимо для развязки, для того, чтобы поставить послѣднюю точку, завершить, распутать, разрѣшить. Необходимость эта чисто внѣшняя, формальная и только изрѣдка является она необходимою и по существу.

Правда, при такомъ пониманіи какъ будто отрицаются описанія и вычеркиваются многія страницы изъ лучшихъ произведеній лучшихъ писателей.

Но дѣло въ томъ, что описанія—нѣчто особое, внѣ событій и внѣ переживаній, однако болѣе близкое вторымъ, чѣмъ первымъ, такъ какъ они представляютъ собою воспринятыя авторомъ переживанія природы, т. е. міровой души, подобно тому, какъ онъ воспринимаетъ и передаетъ переживанія отдѣльныхъ человѣческихъ душъ.

Такимъ образомъ описанія, чуждыя все же момента необходимости, не лишены какой-то таинственной, трудно опредѣлимой, но несомнѣнной связи съ изображеніемъ человѣческихъ мыслей и чувствъ, подобно тому какъ таинственно и несомнѣнно взаимодѣйствіе между самой природой и нашими настроеніями.

Найдутся люди—можетъ быть они составляютъ большинство,—которымъ такой романъ безъ событій покажется. скучнымъ. Такъ что же? Стоитъ лишь разъ навсегда рѣшить, что каждая книга пишется для тѣхъ, кого она за-

интересуетъ и кому понравится, радоваться друзьямъ и не думать объ остальныхъ.

Я знаю обычное возраженіе: писателю нужны читатели и писателю нужны деньги.

Возможно. Но изъ того, что писателю нужны деньги, не слѣдуетъ, что надо писать. Зарабатываются деньги очень различными и очень многочисленными способами, которые, кромѣ того, весьма неодинаковы по своей цѣнности, если къ нимъ примѣнять нравственные критеріи человѣчества.

Тѣмъ лучше, если писателю платятъ за то, что онъ пишетъ. Печально лишь, когда онъ пишетъ для того, чтобы ему платили.

А изъ того, что нужны читатели, не слѣдуетъ, сколько ихъ нужно. Можетъ быть довольно ста тысячъ, а можетъ—сотни, а можетъ быть—одного.

И хотя я говорю не о себѣ, но я начинаю опасаться, какъ бы мнѣ не лишиться того единственнаго читателя, на котораго я разсчитываю.

Разсказы сестры вполнѣ подтверждаютъ мои соображенія. Волнообразная линія вашихъ отношеній коснулась довольно безпорядочно всѣхъ тоновъ и полутоновъ, составляющихъ обычную гамму любовнаго сближенія, отъ любви духовной до любви „полной“, отъ привязанности до страсти.

Пришли вы къ послѣдней, къ признанію послѣдней, не одновременно и не сразу остановились на ней и съ ней примирились.

Слишкомъ вы съ первыхъ же шаговъ запутались въ хитросплетеніяхъ и такъ до самаго конца не удалось вамъ вырваться изъ сѣти, неосторожно сотканной вами вокругъ васъ двоихъ.

Съ первыхъ же шаговъ глухая неправда встала между вами и все больше и больше накоплялось этихъ несознанныхъ вами неправдъ, или, вѣрнѣе, раздвоенныхъ правдъ, причемъ одна половина непознанной правды казалась вамъ правдой, когда вы разсуждали, а другая половина становилась истиной, когда вы собирались дѣйствовать.

Къ тому же—простите мнѣ эти обыденныя клички—вы расходились съ сестрой какъ человѣкъ дѣла не можетъ не расходиться съ человѣкомъ созерцанія.

Ваши жизни не враждебно сталкивались, а текли параллельно и отношенія ваши съ сестрой складывались на нейтральной почвѣ, чуждой непосредственнымъ житейскимъ интересамъ обоихъ.

Но если характеръ человѣка предопредѣляетъ его дѣятельность, то онъ въ то же время и обусловливается ею, и жизнь кладетъ свой отпечатокъ на личность соотвѣтственно тому, какой обликъ она сама получила, на что направлена и что составляетъ ея содержаніе.

Вы окунулись въ самую „гущу“ событій и ваша жизнь была дѣйствіемъ. Сестра, и по своимъ наклонностямъ и вслѣдствіе вліянія мужа, жила въ сторонѣ отъ дѣятельной жизни.

Различіе отношеній къ послѣдней не могло не отразиться и на вашей близости, въ которой должны были сталкиваться два противоположныхъ взгляда на дѣйствительность двухъ противоположныхъ типовъ людей.

Съ точки зрѣнія абсолютной справедливости оба равноцѣнны, такъ какъ знаменуютъ собою два единственно возможныхъ пути жизни.

Но чисто жизненная и потому, конечно, узкая и неправильная оцѣнка заставляетъ меня склониться въ сторону второго, какъ земные вѣсы, покорные закону тяготѣнія.

Когда я сравниваю эти два основныхъ типа людей, мнѣ бросается въ глаза одна яркая особенность, невыгодно отличающая людей дѣла отъ другихъ.

За очень рѣдкими исключеніями, такими рѣдкими, что они въ счетъ не идутъ, личная выгода, осязательная, непосредственная личная выгода становится цѣлью первыхъ.

Ихъ дѣятельность, какъ и всякая другая, ищетъ успѣха. Но ихъ успѣхъ до того внѣшенъ и осязателенъ, до того фактиченъ и конкретенъ, что по неволѣ обостряетъ ихъ личныя чувства, самолюбіе и тщеславіе, властолюбіе и гордость, что перестаетъ быть средствомъ, становится цѣлью и изъ цѣли въ средство превращаетъ то дѣло, которому они должны служить, которое является оправданіемъ ихъ существованія и освященіемъ ихъ усилій.

Но не будь даже этого, не будь даже личнаго корыстолюбія и тщеславія, — есть нѣчто отрицательное въ томъ, что для людей дѣла успѣхъ является въ видѣ матеріальной выгоды, въ видѣ внѣшней предметной награды.

Есть что-то безнадежное и страшное въ опредѣленности и ограниченности ихъ стремленій, въ слишкомъ разумной предѣльности ихъ достиженій, въ томъ, что они могутъ

дойти до конца и видятъ передъ собой этотъ конецъ и стремятся къ нему и нерѣдко до него доходятъ.

Когда путь пройденъ, когда послѣдня цѣль достигнута, и некуда больше итти, и не къ чему больше стремиться, человѣку нигдѣ и ни въ чемъ нѣтъ опоры: ни въ прошломъ, имѣвшемъ значеніе лишь поскольку оно вело къ дальнѣйшему, ни въ грядущемъ, которое ничего уже не сулитъ и не влечетъ къ себѣ, ни въ настоящемъ, которое никогда и ни для кого не существуетъ само по себѣ и представляетъ собою лишь неуловимое превращеніе ожидаемаго въ пережитое.

Привыкшій цѣнить лишь реальное совершеніе и достиженіе и видѣть въ нихъ единственный смыслъ и оправданіе жизни вообще и своей личной жизни въ особенности, человѣкъ, по мѣрѣ достиженія своей цѣли, лишается всего: и опоры объясненія и напутствія оправданія и, какъ пловецъ безъ руля и безъ веселъ беззвѣздной ночью, чувствуетъ себя окруженнымъ безднами вверху, внизу и вокругъ.

Кромѣ того, если не застигнетъ его смерть на его посту, если онъ переживетъ свою дѣятельность и возможность продолжать ее, если будетъ принужденъ отказаться отъ нея, то что остается ему?

Нечѣмъ заполнить жизнь тому, кто жизнь постигалъ лишь какъ профессію, какъ внѣшнюю дѣятельность и такъ настойчиво закрывалъ глаза на все остальное, на внутренній міръ,—неотъемлемый, когда его ощущаешь и любишь,—что пересталъ видѣть его и навѣки закрылъ себѣ доступъ къ нему.

И, вмѣсто того, чтобы приготовить вѣрное убѣжище для своей старости, онъ заранѣе лишилъ ее послѣдняго пристанища и обрекъ на безрадостное и безнадежное существованіе бездомнаго бродяги, которому не всегда находится мѣсто даже въ уныломъ пріютѣ для нищихъ.

И если среди самыхъ счастливыхъ столько встрѣчается разочарованныхъ, больныхъ особой болѣзнью, которую можно назватъ „острымъ ощущеніемъ пустоты жизни“, если такихъ

больныхъ особенно много среди народа наиболѣе дѣлового по общему признанію, то это объясняется главнымъ образомъ указаннымъ характеромъ ихъ дѣятельности.

И повѣрьте мнѣ, безчисленное количество людей больны тою же болѣзнью, но не замѣчаютъ ея въ себѣ, пока по инерціи, обманывая себя и другихъ, спѣшатъ по избранному пути, поглощенные своими занятіями, безчисленными и по ихъ словамъ тягостными, но въ сущности спасительными для нихъ.

Такъ, часто, невидимая болѣзнь подтачиваетъ организмъ, который борется съ ней и по инерціи продолжаетъ функціонировать нормально.

Но достаточно малѣйшаго толчка, который выбьетъ его изъ обычной колеи, чтобы скрытый недугъ внезапно одолѣлъ его и обнаружился съ неожиданной силой.

Всѣ громкія слова, подъ знаменемъ которыхъ дѣлается все реальное, мгновенное дѣло человѣчества, тѣми, кого зовутъ людьми дѣла, — не символы вѣры, и даже не правила жизни, а просто вывѣски, заманчивыя и обманчивыя, но заманчивыя лишь для толпы, которая имъ нужна и обманчивыя лишь для нея же.

И чаще, чѣмъ среди обыкновенныхъ купцовъ, эти вывѣски не оправдываются ни товаромъ лавочки, ни еще менѣе его качествомъ.

Я допускаю, что есть исключенія.

Но, во-первыхъ, они не измѣняютъ сути; а во-вторыхъ я ихъ не знаю.

Укажите мнѣ ихъ; укажите мнѣ на политика, чиновника, торговца, промышленника, къ которому не подходитъ моя характеристика. Укажите мнѣ хотя бы на врача. Ибо, чья дѣятельность больше, чѣмъ дѣятельность врача, и непосредственнѣе, направлена на благо человѣчества?

Замѣтьте, что я говорю не о тѣхъ отдѣльныхъ и исключительныхъ людяхъ, которые въ тиши и уединеніи дѣлаютъ свое благое дѣло, а лишь о тѣхъ, чья дѣятельность носитъ характеръ публичности, профессіональности, имѣетъ въ виду толпу, ищетъ извѣстности. Къ первымъ совершенно не подходитъ опредѣленіе „людей дѣла“, которое по недоразумѣнію иногда примѣняется къ нимъ.

При такомъ пониманіи всякій былъ бы человѣкомъ дѣла, такъ какъ и кабинетный ученый и мудрый отшельникъ дѣлаютъ свое особое дѣло.

И даже проповѣдники и пророки, вѣроучители, которые шли въ міръ, въ толпу, искали гласности и послѣдователей, не могутъ быть названы людьми дѣла, такъ какъ ихъ дѣятельности чужда та практическая непосредственность, та реальная достижимость осязаемой цѣли, тотъ моментъ личнаго успѣха, сопряженнаго съ успѣхомъ ихъ „дѣла“, которые являются наиболѣе характерными признаками дѣятельности тѣхъ, кого мы называемъ людьми дѣла и которыхъ для ясности лучше было бы называть „дѣловыми людьми“.

Вы могли бы мнѣ возразить, что я забываю безкорыстныхъ мучениковъ идеи, самоотверженныхъ борцовъ, твердо идущихъ по пути, слишкомъ тернистому и мрачному для легкой радости или дороднаго почета, вмѣсто которыхъ они встрѣчаютъ трусливаго вора, — тюрьму или наемныхъ убійцъ: висѣлицу и плаху.

Но хотя они живутъ жизнью практической и стремятся къ реальной цѣли, они отличаются отъ прочихъ — отъ необъятнаго большинства, которое я одно лишь имѣю въ виду — тѣмъ, что не себя утверждаютъ въ мірѣ, а свою вѣру, и ради своей правды готовы пожертвовать собою.

Ихъ нельзя смѣшивать, ни осуждать, ни презирать съ тѣми.

Ибо склонять колѣни предъ алтаремъ даже не существующаго Бога, когда въ Него вѣришь, въ тысячу разъ достойнѣе человѣка, чѣмъ гнуть спину передъ людьми, унижаясь передъ тѣми, кого тайно ненавидишь или презираешь, кому завидуешь, какъ лакей, презирающій своего господина и завидующій ему.

Можетъ лакей сдѣлаться бариномъ, — не можетъ человѣкъ стать Богомъ. И въ этой невозможности — точно камни въ безднѣ морской — тонутъ безслѣдно позоръ зависимости и униженіе рабства.

Но на узкихъ путяхъ жизни подвижникъ, готовый пожертвовать собою, не задумается пожертвовать и другими ради своей правды и вѣры. И если допустима и даже прекрасна добровольная жертва человѣка — уродливо всякое принужденіе и позорно всякое насиліе.

А между тѣмъ невозможно основывать благополучіе человѣчества на измѣненіи существующаго строя, т.-е. формъ жизни и общенія, и не столкнуться реально и враждебно со всѣми, кому эти формы удобны или просто привычны. Невозможно исходить изъ безкорыстной мечты о чужомъ благѣ, непонятомъ другими, и не насаждать его насильно среди людей ради ихъ счастья, хотя бы наперекоръ ихъ волѣ, какъ насильно вливаютъ цѣлебный напитокъ въ горло неразумнаго ребенка.

Ибо нельзя чтить свободу и примириться съ чужимъ насиліемъ. Нельзя насиліе одолѣть безъ насилія. И не могутъ самые самоотверженные и самые безкорыстные не измѣнить себѣ, такъ какъ должны или допустить или совершить то, что осуждаютъ.

Поэтому двоится мое отношеніе къ нимъ и вѣнчая ихъ неувядаемымъ вѣнкомъ умиленной хвалы, я вплетаю въ него острыя тернія суровыхъ осужденій.

Если вдуматься, если внимательной мыслью искать первопричины, которой обусловлены указанныя и неизбѣжныя послѣдствія, то неизбѣжность ихъ и разумная необходимость станутъ очевидными и непреложными. Опять-таки не по существу, не съ точки зрѣнія „вѣчности", а лишь въ предѣлахъ земныхъ отношеній и практической жизни.

Безсмысленно и безполезно отрицать, что неравенство и несправедливость лежатъ въ основѣ всего общественнаго строя; что человѣчество до сихъ поръ не нашло способа искоренить это злѣйшее изъ золъ; что ни успѣхи человѣческой мысли, ни открытія науки, ни побѣды воли человѣческой надъ силами природы не измѣнили къ лучшему того распредѣленія жизненныхъ благъ, согласно которому большинство всего лишено, а меньшинству все даровано.

Это неравенство людей на почвѣ реальной и для всѣхъ одинаково предѣльной и въ существенныхъ чертахъ своихъ тождественной жизни, эта несправедливость, дающая однимъ избытокъ до полнаго пресыщенія и лишающая другихъ самаго необходимаго, хотя бы цѣною смерти отъ голода или отъ холода, не могутъ не бросаться въ глаза всякому, даже тому, кто только наблюдаетъ со стороны, не вмѣшиваясь въ толпу, не сталкиваясь въ борьбѣ интересовъ, потребностей, желаній и требованій съ тѣми, чья участь не похожа на его участь, чьи страданья невѣдомы ему, чьи жалобы ему незнакомы.

Конечно, можно утверждать, что мы не знаемъ истиннаго смысла и значенія бытія и что нашему ограниченному пониманію чужды вѣчные законы свершеній, съ вершинъ которыхъ намъ открылась бы справедливость и цѣлесообразность того, что намъ кажется несправедливымъ и безсмысленнымъ.

Это и стараются намъ внушить всѣ догматическія религіи и вновь съ особой силой и категоричностью утверждало христіанство — не въ устахъ Христа, а въ ученіи церкви,—

христіанство почти двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ явившееся на смѣну прежнимъ вѣроученіямъ, когда ихъ благостныя иллюзіи потеряли свою первоначальную свѣжесть и убѣдительность.

Но трудно на равнинахъ жизни, въ области осязаемой реальности, отказаться отъ сознанія и пониманія, трудно поработить ихъ слѣпой, неразсуждающей вѣрѣ, чьи утѣшенія отвлеченны, чья крѣпость зависитъ не отъ насъ, чье противорѣчіе съ видимой дѣйствительностью до сихъ поръ разрѣшалось лишь отрицаніемъ послѣдней, отказомъ отъ нея.

Ибо до сихъ поръ люди были монистами: искали объясненія и разрѣшенія въ чемъ-то единомъ и всеобъемлющемъ. И поэтому понятно, что ихъ религіи, — однѣ въ скрытомъ видѣ, другія открыто, — утверждали единство.

Во имя этого единства и для разрѣшенія вѣчнаго противорѣчія между идеей о мірѣ и міромъ реальнымъ приходилось признать первую, отрицая второй, или признать второй, отрицая первую.

И хотя цѣлыхъ двадцать вѣковъ дѣйствительность какъ будто бы подчинялась отвлеченной идеѣ, и религіозное сознаніе отрицало и презирало жизнь плоти ради жизни духа, но на самомъ дѣлѣ невозможно, живя тѣмъ, что есть, отрицать то, что есть, и нельзя отвергнуть, не уничтоживъ жизни, дѣйствительность съ жизнью неразрывную.

Такимъ образомъ, основное противорѣчіе было лишь замѣнено новымъ: отрицаніе дѣйствительности не разрѣшало вопроса, такъ какъ она сильнѣе всякихъ отрицаній, и повернуться спиной къ врагу не значитъ ни одолѣть его, ни примириться съ нимъ.

Несправедливость въ каждый данный моментъ, и въ каждомъ данномъ мѣстѣ оставалась несправедливостью, и вопли страждущихъ на полѣ жизни оказывались болѣе убѣдительными, чѣмъ мудрыя притчи вѣроучителей и стройные гимны подъ сводами церквей.

Въ особенности убѣдительнѣе для тѣхъ, кто непосредственно сталкивается съ дѣйствительностью, кто имѣетъ дѣло съ жизнью реальной, съ жизнью мгновенія, со всѣми его реальными условіями, требованіями и потребностями, нуждами и надеждами, радостями и скорбями.

И напрасно призывали вѣроучители къ единенію, къ братству и любви.

Была непреложность и обязательность истины въ ихъ рѣчахъ, и принимали люди эту истину, но не познали до сихъ поръ, какъ примѣнить ее, какъ согласовать съ многочисленными и многообразнымм формами и требованіями повседневной жизни.

Нельзя сказать, что одна только религія пыталась отвѣтить на вопли страждущихъ, что наука, практическая философія и политика остались глухи, нѣмы и недвижимы. „Свобода, равенство и братство“ были цѣлью и лозунгомъ Великой Революціи.

Она пыталась путемъ свободы добиться равенства. Но, не говоря о томъ, что свобода сама по себѣ явилась камнемъ преткновенія, и неожиданно привела къ новому порабощенію, иному по формѣ, но неизмѣнному по существу,— равенства на ея пути не оказалось вовсе.

Печальный выводъ нашелъ новыя подтвержденія въ послѣдующихъ переворотахъ, такихъ же въ этомъ отношеніи безрезультатныхъ, какъ и первый. И медленная и незамѣтная эволюція заставила искать спасенія и выхода въ иномъ направленіи.

Соціализмъ, который не такъ давно вновь поднялъ знамя борьбы противъ несправедливости, позорящей человѣчество, опирается на науку и упирается въ религію, но не связуетъ ихъ между собою, а двоитъ каждую изъ нихъ, извращая и ту и другую.

По существу своему онъ скорѣе направленъ противъ неравенства, чѣмъ противъ несправедливости. Ибо справедливый въ распредѣленіи благъ, уравнивая людей въ ихъ матеріальномъ положеніи и въ удовлетвореніи ихъ потребностей, онъ принужденъ лишить ихъ свободы, ограничить личную иниціативу, сузить до послѣднихъ предѣловъ кругъ дѣятельности, подавить независимость и попирать меньшинство въ пользу большинства.

Строго и точно опредѣливъ права каждаго, онъ воздвигаетъ эти права какъ непреложныя велѣнія и опутываетъ ими точно паутиной, все человѣчество, и хотя нѣтъ въ этой паутинѣ живого, реальнаго паука, но невидимый, отвлеченный паукъ принужденія и угрозы будетъ безостановочно и невозмутимо пить кровь своихъ жертвъ.

Пусть эти жертвы, откормленныя и выхоленныя, не похожи на тощихъ осеннихъ мухъ. Не все ли равно? И не будетъ ли судьба людей похожа на участь страсбургскихъ гусей, которыхъ запираютъ въ клѣтку и откармливаютъ до отвала, чтобы изъ разбухшей и ожирѣвшей печенки приготовить извѣстный всему міру паштетъ?

Паштетъ этотъ, по крайней мѣрѣ, ѣдятъ люди. Но для кого предназначенъ жирный паштетъ соціализма—я затрудняюсь сказать.

Конечно, и въ его ученіи есть зерно правды. Во-первыхъ, правды отрицательной, а именно: провозглашеніе неправды, лежащей въ основаніи существующаго строя. Но и правды положительной, такъ какъ въ извѣстномъ отношеніи онъ утверждаетъ права личности, хотя и не ради нея, а ради общества, и стремится освободить ее отъ зависимости матеріальной, отъ „предметовъ“, отъ „вещей“, обезпечить матеріально всѣхъ, чтобы оградить отъ матеріальныхъ заботъ. При этомъ, однако, личность не сама по себѣ важна для него, а лишь какъ слагаемое, необходимое, но безслѣдно исчезающее въ общей суммѣ.

Прямо противоположный христіанству, соціализмъ не отвергаетъ міра, не отвращается отъ него, а только его имѣетъ въ виду, и не за гробомъ, а на землѣ ищетъ послѣдняго блаженства.

Загробнаго міра для него нѣтъ, но и души нѣтъ, и знаетъ онъ лишь потребности плоти, а не духа.

Для удовлетворенія плоти онъ не остановится передъ насиліемъ надъ нею. И отрицая или просто отвергая душу, онъ не можетъ не насиловать и ее.

Благимъ намѣреніемъ продиктовано его ученіе и благороднымъ возмущеніемъ звучитъ его призывъ. Но злого противорѣчія и онъ не разрѣшаетъ.

Онъ хочетъ всѣхъ уравнять, чтобы всѣхъ накормить, одѣть, согрѣть, защитить отъ невзгодъ.

Но, какъ Прокрустъ, онъ не ложе пригоняетъ къ людямъ, а людей къ ложу, и, если многимъ придется отрубить головы или ноги, онъ отрубитъ ихъ, не внимая ихъ воплямъ и возмущеніямъ.

Гдѣ же его справедливость?

И развѣ не новое противорѣчіе раскрываетъ онъ, такое же мучительное и тяжелое, какъ прежнія: противорѣчіе между справедливостью и равенствомъ?

Такимъ образомъ, ни религія, искавшая выхода въ братствѣ и призывавшая къ любви, ни Великая Революція, добивавшаяся свободы, ни соціализмъ, который стремится къ равенству, не разрѣшили вопроса, самаго больного изъ всѣхъ земныхъ вопросовъ.

Ибо братство и любовь, какъ ихъ понимаютъ теперь, въ ихъ реальномъ осуществленіи несогласимы съ враждебностью противорѣчивыхъ интересовъ, разъединяющихъ людей, и ждать ихъ расцвѣта на нивѣ человѣческой—значитъ

расчитывать на жатву, не удаливъ сорной травы съ поля, не вспахавъ и не засѣявъ земли.

Ибо свобода абсолютная недостижима, такъ какъ поневолѣ ограничивается условіями существованія и свободой другихъ, и по существу несогласима съ равенствомъ.

Ибо равенство быть можетъ осуществимо; но если такъ, то лишь цѣною порабощенія, уравнивающаго всѣхъ одинаковымъ рабствомъ, исключающаго братство, основанное на любви, которая должна быть свободной и проявляться въ свободныхъ людяхъ, чтобы быть дѣйствительной.

И единственный выходъ изъ заколдованнаго круга существующей общественности и государственности, повидимому, въ отрицаніи и той и другой. Это отрицаніе и лежитъ въ основѣ анархизма и нельзя не признать послѣдовательности его разсужденій и правильности его выводовъ.

„Общество и государство основаны на порабощеніи; человѣкъ долженъ быть свободенъ; слѣдовательно надо отрицать и разрушить общество и государство".

Тутъ, по крайней мѣрѣ, нѣтъ компромиссовъ. Требуется свобода, а не только свободы; вмѣсто равенства не предлагается уравненіе въ правахъ, имуществахъ и способностяхъ, ибо равенство заключается въ свободѣ, въ полной свободѣ каждаго; и любовь свободнаго человѣка къ свободнымъ людямъ не замѣняется поддѣлкой любви, въ видѣ жалости, надежды на помощь или чувства зависимости.

Но зато непонятнымъ остается, какъ достигнутъ люди этого новаго строя, и мракомъ невѣдомой тайны окутанъ онъ самъ.

Не отрицая его, мы, однако, не можемъ его принять и понять, такъ какъ не въ силахъ практически его себѣ представить и не знаемъ, какъ его осуществить.

Мы готовы повѣрить въ неизбѣжность эволюціи, которая къ нему ведетъ, но для этого должны сначала повѣрить въ результатъ этой эволюціи.

Можно разрушать, не зная, что построишь; но нельзя въ это вѣрить, такъ какъ вѣрить—значитъ утверждать и, слѣдовательно, вѣрить въ разрушеніе значило бы утверждать отрицаніе само по себѣ.

Можно вѣрить или не вѣрить въ существованіе Бога. Но нельзя вѣрить въ несуществованіе Его.

И безсильно опускаются руки, содрогается сердце, тускнѣетъ мысль и тщета усилій человѣческихъ своей неотвергаемой очевидностью подавляетъ сознаніе.

Нельзя не признать этой очевидности, нельзя закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не видѣть ужаса страданій, чтобы не слышать плача и стона обездоленныхъ.

Позорно для человѣка спасаться отъ нихъ за робкія и лживыя рѣчи о частичномъ облегченіи, о „малой помощи, которая все же лучше, чѣмъ ничего“, о томъ, что предѣльны силы человѣческія и можно требовать отъ людей лишь возможнаго.

Позорно это, но ничего другого не остается тѣмъ, кто призванъ, кто призвалъ себя жить жизнью реальной, жизнью практической, жизнью дѣла, кто творитъ или обмѣниваетъ предметы, создаетъ потребности и удовлетворяетъ ихъ, спутываетъ и распутываетъ интересы, участвуетъ въ историческомъ процессѣ роста и разложенія обществъ и государствъ, жаждетъ власти, т.-е. возможности своей волѣ подчинять воли многихъ, ищетъ богатства, т.-е. возможности удовлетворять свои прихоти услугами другихъ, хочетъ славы чтобы ощущать свое превосходство.

И потому что не можетъ никто изъ нихъ уничтожить несправедливость и все же не отказывается отъ своей дѣятельности, слѣдовательно пользуется этой несправедливостью и долженъ ее использовать для своей выгоды, для успѣха своего предпріятія,—есть что-то отрицательное, есть что-то

лживое и фальшивое и поэтому омерзительное въ людяхъ дѣла, во всѣхъ „дѣятеляхъ“ общественныхъ и государственныхъ, *если ихъ судить съ точки зрѣнія той дѣйствительности, ограниченной во времени и въ пространствѣ, которая является полемъ ихъ дѣятельности и ихъ собственнымъ и высшимъ аргументомъ противъ неудобной имъ правды отвлеченныхъ идей и нормъ.*

Но если отрѣшиться отъ мгновенной реальности поступковъ и дѣяній, если прислушаться къ тихому, но незаглушимому, хотя и не вполнѣ внятному шопоту вѣчной справедливости, оправдывающей оба пути—и тотъ, который удаляетъ насъ отъ жизни и тотъ, который къ ней ведетъ—мы принуждены будемъ признать, что не по существу достойны осужденія люди дѣла, а лишь вслѣдствіе добровольной, хотя и роковой ошибки.

Они не понимаютъ, не даютъ себѣ труда понять, что заботясь о собственномъ благѣ или думая о чужомъ, жертвуя другими ради себя, или собою ради другихъ, они двояко утверждаютъ единое заблужденіе.

Изъ вѣчнаго и необходимаго противоположенія каждаго личнаго „я“ всѣмъ остальнымъ, нѣтъ выхода, пока основой избираются „другіе“.

И одинаково безцѣльно жертвовать собою ради другихъ или другими ради себя. Своей жертвой другому не создашь счастья; на чужой жертвѣ не возведешь собственнаго благополучія.

Поэтому до сихъ поръ ни на іоту не уменьшились страданія человѣчества. Если всѣ богатые отдадутъ свое имущество, если всѣ властные уступятъ свою власть, человѣчество не выиграетъ ни одного имущаго, ни одного вліятельнаго человѣка. Бѣдный станетъ богатымъ, рабъ превратится

въ господина: но богатый сдѣлается нищимъ и владыка—рабомъ.

Такъ и было каждый разъ, когда въ той или другой формѣ совершались подобныя попытки.

Непреложное свидѣтельство исторіи опровергало бы призывъ Евангелія раздать имущество бѣднымъ, оставить свой домъ и свою семью, отказаться отъ своего превосходства и господства, если бы этотъ призывъ имѣлъ цѣлью уничтожить нищету, удовлетворить нужду, матеріально возвысить угнетенныхъ.

Но Тотъ, Кто пришелъ возвѣстить благую вѣсть, принести страждущимъ облегченіе и скорбящимъ успокоеніе, на сей разъ обращался не къ угнетеннымъ и оскорбленнымъ и не ради нихъ, а ко всѣмъ людямъ вообще и ради каждаго изъ нихъ. И училъ Онъ тому, что спасется богатый, который раздастъ свои богатства, не тѣмъ, что поможетъ другимъ, а потому, что освободившись отъ внѣшнихъ заботъ и познавъ тщету и лживость ихъ, онъ скорѣе обрѣтетъ себя, научится цѣнить въ себѣ не богача, не вельможу, не владыку, а человѣка, пойметъ, что важно не то, чѣмъ человѣкъ окруженъ,—важны не предметы и не другіе люди,—а онъ самъ для себя и передъ собой.

Ищутъ люди уваженія людей и думаютъ достигнуть его превосходствомъ сокровищъ, отличія, власти.

Но чужое уваженіе — истертая и обезцѣненная монета, мыльный пузырь, ножны безъ меча, и не даетъ оно ничего ни тѣмъ, кто такъ уважаетъ, ни тому, кто такъ уважаемъ. Не даетъ, такъ какъ не уважаетъ самъ себя человѣкъ, который, нуждаясь въ чужомъ уваженіи, добивается его тѣмъ, что не въ немъ и не отъ него, а внѣ его и отъ другихъ.

А разъ не уважаетъ себя самъ, то что ему чужое уваженіе?

Да и уваженіе ли это, а не страхъ, не зависть, не корыстолюбивая лесть, не скрытая вражда, не таящаяся нена-

висть? И подъ завистью, подъ лестью, подъ враждой не вспыхиваетъ ли незримо, то тутъ, то тамъ, блѣдная и злая искра презрѣнія?

Презрѣніе вмѣсто уваженія. Такъ и должно быть: презрѣвъ себя самъ, человѣкъ и недостоинъ иного.

Только освободившись отъ всего наноснаго, чужого, ненужнаго, невѣрнаго, какъ алмазъ отъ облѣпившей его, но хрупкой и нецѣнной коры, познаетъ человѣкъ себя, человѣка въ себѣ и почувствуетъ самъ уваженіе къ человѣку. Сначала въ себѣ. Потомъ и къ другимъ, къ каждому. Ибо уважать другихъ можно лишь уважая себя. И съ другой стороны нельзя уважать себя, не уважая другихъ.

И если безспорной истиной озарены слова Монтескье: on a meilleure opinion de soi-même parce qu'on a meilleure opinion des hommes, то все же въ нихъ отражена лишь одна половина правды. Чтобы охватить ее всю, слѣдовало бы прибавить: on a meilleure opinion des hommes, quand on a meilleure opinion de soi-même и помнить, что вторая изъ двухъ взаимно дополняющихъ другъ друга формулъ значительнѣе первой и должна бы ей предшествовать.

Но важно и нужно для каждаго лишь собственное уваженіе къ себѣ и другимъ, а не уваженіе другихъ къ нему. Тому же, кто спроситъ, отчего уваженіе вообще значительнѣе какого бы то ни было другого первоначальнаго чувства человѣка къ себѣ, какъ къ человѣку, и къ остальнымъ людямъ, не лишнимъ будетъ напомнить слова Канта: „изъ всѣхъ существъ міра мы выказываемъ уваженіе только человѣку". И состраданіе, и привязанность, и искренность, и даже въ извѣстной степени—любовь даруются нами и другимъ тварямъ. И только уваженія онѣ никогда въ насъ не вызываютъ. А такъ какъ просвѣтленное уваженіе—предтеча всеозаряющей любви, какъ свѣтлая заря предшествуетъ яркому полдню, то и любить научится каждый: сначала себя, а затѣмъ и другихъ. Ибо нельзя любить человѣка въ себѣ

и не любить человѣка во всякомъ другомъ. Но опять таки, важна лишь любовь каждаго къ себѣ и другимъ, а не любовь другихъ къ нему,

И яснымъ становится, о какой любви говорилъ Христосъ, отчего призывалъ людей оставить родителей, и жену, и дѣтей, и итти за Нимъ, отчего самъ отвергъ Мать и братьевъ.

Жестоко и безсмысленно бросить тѣхъ, кто любитъ, оттолкнуть тѣхъ, кто любитъ, если на чужой любви долженъ основываться человѣкъ и съ чужой любовью считаться. Если же онъ жертвуетъ ею ради собственнаго спасенія, т.-е. исключительно ради личной выгоды, то какая же цѣна такой жертвѣ и въ чемъ ея цѣнность? А принести въ жертву свою любовь къ отдѣльнымъ людямъ ради своей любви хотя бы къ Царству Небесному или къ Богу, не значитъ ли подчинить менѣе сильное чувство болѣе сильному и слѣдовательно поступить такъ же, какъ поступаютъ всѣ люди? Если такое предпочтеніе характеризуетъ человѣка смотря по тому, что онъ предпочелъ, то самый поступокъ его все же лишенъ всякой нравственной цѣнности. И не могъ бы этому учить, и не могъ бы такъ поступить Христосъ.

Но Онъ пришелъ избавить людей отъ рабства, замѣнить принужденіе и мрачную тягость любви просвѣтленной свободой.

Онъ не нарушилъ основной заповѣди религіозной морали. „Не нарушить Я пришелъ законъ, а исполнить“. И повторилъ: „люби ближняго, какъ самого себя“. На любви Онъ построилъ свое ученіе, но только непонятую заповѣдь о любви объяснилъ и раскрылъ людямъ.

Непонятой она осталась до сихъ поръ. Но Его ли обвинять за это? Ибо вотъ что иными словами сказалъ Онъ людямъ:

„Не изъ чужой любви исходите, а изъ своей. Какъ ходите вы на своихъ ногахъ, и на чужихъ ходить не можете, такъ и любите своимъ сердцемъ, а не чужими. И какъ ваши ноги носятъ васъ, и не понесутъ другихъ, такъ и ваша любовь возвышаетъ вашу душу, а не чужія. Для вашего тѣла ваши ноги; для вашей души ваша любовь. Бросьте свои ноги другимъ: останетесь сами калѣками и другимъ не поможете. Бросьте вашу любовь другимъ: не поможете имъ, лишь искалѣчите свою душу. Ради себя, а не ради другихъ — такъ любите".

Но чтобы такъ любить и быть вѣрнымъ завѣту Учителя надо познать въ себѣ не купца, не художника, не вельможу, не владыку, а человѣка. Ибо враждебенъ купецъ купцу, и владыка владыкѣ, но не можетъ человѣкъ быть враждебенъ человѣку.

Познать, уважать и любить въ себѣ человѣка, значитъ познать, любить и уважать свою связь съ бытіемъ.

Кто утверждаетъ себя какъ человѣка, кто утверждаетъ человѣка въ себѣ — не кажущуюся реальность человѣка-купца, человѣка-художника, человѣка-вельможи, а истинную реальность „человѣка",—тотъ перестаетъ быть рабомъ какого-то далекаго и грознаго Божества—деспота, чуждаго міру и людямъ, и не страхомъ, а любовью связуетъ себя съ Богомъ. Лишь такая любовь, лишь такая вѣра — свободны и достойны и человѣка и Бога.

Любовь и вѣра раба угодны лишь рабу или тирану. Хулу изрекаетъ тотъ, кто зоветъ Бога владыкой и человѣка рабомъ. Хулу изрекаетъ тотъ, кто властелиномъ зоветъ человѣка.

Не утверждаетъ онъ ни человѣка, ни Бога, а отрицаетъ ихъ.

Какъ отрицалъ Ницше, утверждая своего сверхъ-человѣка, ибо нѣтъ властелина, гдѣ нѣтъ рабовъ и основывать свою свободу на чужомъ рабствѣ можетъ лишь тотъ, кто не знаетъ свободы, не чтитъ человѣка, не вѣритъ въ Бога.

Рабство—какъ вода; попробуйте на немъ возвести зданіе: не вверхъ, а внизъ уйдетъ оно и безслѣдно исчезнетъ.

А между тѣмъ прямо-таки невозможно обойтись безъ какого бы то ни было зданія общественности и нельзя не признать неудовлетворительности и даже уродливости существующаго.

Приходится думать о новомъ, вычерчивать планы, собирать силы и готовить матеріалъ для новой постройки. Приходится сначала собирать силы, чтобы разрушить старую.

Но это было бы не такъ трудно, хотя оно и не легко, если бы все было готово для будущей. Собраться съ силами, подняться, налечь грудью и плечами, раскачать и низвергнуть—это, пожалуй,—не навѣрно—но, пожалуй, можно было бы и теперь.

Но что же дальше? Что выстроили бы мы на развалинахъ?

Нѣтъ у насъ возможности выстроить новое, не потому что нѣтъ силъ разрушить старое, а потому что не готовы новые матеріалы.

И ждать приходится не отъ того, что старое крѣпко и еще не разваливается само, а въ виду нашей неподготовленности для новаго строительства.

Будущіе строители не сильнѣе насъ должны быть, а иными. И не мышцами и усовершенствованными орудіями отъ насъ отличаться, а душевной настроенностью и сознаніемъ.

Новое зданіе общественности не на фундаментѣ новыхъ экономическихъ или соціальныхъ условій можетъ быть возведено и укрѣплено, а на новой психологіи.

Первыя, въ своемъ историческомъ развитіи, слѣдуютъ своимъ законамъ и подчиняютъ себѣ людей.

Вторая можетъ быть направлена людьми, совокупностью

отдѣльныхъ и властныхъ личностей, къ сознательно понятой и намѣченной цѣли.

Никакое соціальное переустройство, основанное только на иномъ внѣшнемъ порядкѣ и распредѣленіи, не въ состояніи удержаться безъ компромиссовъ и противорѣчій, которыя, незамѣтно извращая его, постепенно приближаютъ къ прежнему порядку и подчиняютъ непобѣжденной имъ несправедливости.

Не новый строй измѣнитъ людей, а иные люди нужны, чтобы создался новый строй.

А новая человѣческая личность получится не черезъ изученіе и примѣненіе тѣхъ или другихъ формъ производства, обмѣна и общенія, тѣхъ или другихъ правовыхъ нормъ, а черезъ новое пониманіе и признаніе человѣкомъ себя самого и другихъ, которыя приведутъ къ иному отношенію людей между собою, иному по оцѣнкамъ, по чувствамъ и по своей цѣли.

Это новое отношеніе и будетъ новымъ матеріаломъ для будушей общественной постройки и его можетъ подготовлять человѣкъ, или углубляясь въ свою душу, или же погружаясь въ душу коллективную, принимая дѣятельное участіе въ многосложной и разносторонней общественной дѣятельности.

И люди дѣла виновны не въ томъ, что идутъ въ жизнь, а въ томъ, что видятъ въ себѣ,—а поэтому и въ другихъ—нищихъ и богатыхъ, купцовъ и вельможъ, рабовъ и владыкъ,—и не видятъ людей.

Нѣтъ равенства на землѣ, нѣтъ свободы. И никто не въ силахъ помочь другимъ, уничтожить нужду.

Не внѣшне, а внутренно дано намъ побороть несправедливость, и для этой побѣды не на другихъ намъ нужно полагаться, а каждому на себя.

Но слабы одни, но жестоки другіе, но слѣпы всѣ. И потому непобѣдима несправедливость, царящая на землѣ, и

презрѣнны тѣ, кто примиряется съ нею, и среди нея живетъ и ею пользуется.

Легко сказать: не будетъ никогда такой любви на землѣ. Легко противъ еще непровѣренной истины единственнымъ доводомъ выставить отравленное каплей презрѣнія слово: утопія. Легко издѣваться надъ тѣмъ, чего нельзя опровергнуть.

Но кто смѣетъ установить точные предѣлы возможнаго даже въ области матеріальной жизни, не говоря уже о таинственныхъ и невѣдомыхъ никому вершинахъ, гдѣ зарождаются и живутъ своей особой жизнью идеи, творящія міръ такой же реальный, какъ міръ дѣяній, хотя и менѣе доступный, чѣмъ онъ?

Отрицать одинъ во имя другого не значитъ ли въ слѣпой самодовольности своевольно ограничивать себя, убивать или душу или тѣло, отказываться отъ полноты бытія, распинать въ себѣ или въ мірѣ Бога, уподоблять человѣка звѣрю— что претитъ нашему сознанію —- или ангелу, — что противорѣчитъ нашему разуму?

А насмѣшка, шутка, острота лишены убѣдительности и ничего не доказываютъ, кромѣ неуваженія насмѣшника къ себѣ самому.

Ибо насмѣшка, неуважительная къ другому, основана на собственномъ неуваженіи человѣка къ себѣ.

Уваженіе исключаетъ шутку, какъ сіяніе солнца несовмѣстимо съ темнотой. Темно тамъ, куда не проникаютъ его лучи. Уваженія нѣтъ тамъ, гдѣ люди рѣшаются шутить.

И это вѣрно не только по отношенію къ отдѣльнымъ людямъ, но и къ цѣлымъ народамъ.

Не уважаютъ себя французы и не уважаютъ другихъ и, несмотря на всѣ свои качества, блестящія и привлекательныя, не пользуются уваженіемъ.

Уважаютъ себя англичане и уважаютъ ихъ, хотя не любятъ другіе. Не любятъ не оттого, что уважаютъ, а уважаютъ, несмотря на то, что не любятъ; несмотря на то что едва ли сами они любятъ себя. Слишкомъ много гордости въ ихъ самоуваженіи, чтобы оставалось мѣсто для любви. Да и кромѣ того, каждый изъ нихъ уважаетъ въ себѣ не себя, а англичанина, т.-е. свою принадлежность къ опредѣленной націи и къ данному государству.

Но не болѣе ли достойно даже такое горделивое уваженіе, чѣмъ балаганная шутливость самопрезрѣнія? И хотя забавляетъ насъ „блага“ и рукоплещемъ мы ей и смѣемся съ вѣчно насмѣхающимся французомъ, но въ глубинѣ души не чувствуемъ ли презрѣніе къ нему и не уважаемъ ли высокомѣрнаго и скучнаго для насъ англичанина, всегда спокойнаго и серьезнаго?

Онъ кажется намъ скучнымъ оттого, что всегда серьезенъ.

Но серьезность тѣсно связана съ уваженіемъ, le sérieux n'étant que le respect devant soi-même?

— — —

Можетъ быть никогда не удастся людямъ уничтожить неравенство и одолѣть несправедливость.

Но очистятъ и оправдаютъ себя тѣ, кто понесетъ въ жизнь такое пониманіе жизни и пойдетъ къ людямъ съ такимъ уваженіемъ и съ такою любовью къ человѣку, на которыхъ зиждется высшее равенство и основана высшая справедливость.

Ибо тогда лишь вѣренъ онъ будетъ себѣ и достоинъ своего назначенія, и, если не всѣ будутъ подобны ему и не измѣнится къ лучшему жизнь, то не приметъ онъ по крайней мѣрѣ участія въ чужой винѣ, не загрязнитъ себя попустительствомъ, не унизитъ себя молчаливымъ признаніемъ или даже поддержкой того, съ чѣмъ никогда не примирится сознаніе человѣческое.

Не примирится никогда и ни въ комъ.

И можетъ быть ничто не показательнѣе тѣхъ искреннихъ и печальныхъ словъ, которыя въ кругу близкихъ людей, сѣрымъ осеннимъ вечеромъ, вырвались у престарѣлаго „желѣзнаго канцлера“ давно тяготившимъ его и неудержимымъ признаніемъ.

Человѣкъ дѣла и воли, державшій въ своихъ рукахъ судьбы Европы, подчинившій своей власти властелей народовъ, не знавшій сомнѣній, чуждый колебаніямъ, цѣльный, могучій и рѣшительный, склонился онъ къ огню, пылавшему каминѣ, и, бросая еловыя шишки въ костеръ, какъ прежде бросалъ людей въ безжалостное пламя смерти, жаловался на свою судьбу, которая міру казалась такой блестящей.

„Никому не далъ я счастья: ни народу, ни собственной семьѣ, ни себѣ самому“.

— Вы создали счастье великой націи,—возражали ему.

И несчастье сколькихъ людей—отвѣтилъ онъ.—Не будь меня, не было бы трехъ ужасныхъ войнъ; 80 тысячъ человѣкъ не лишились бы жизни; сотни тысячъ женъ, отцовъ и матерей, братьевъ и сестеръ не оплакивали бы погибшихъ... Въ этомъ теперь мнѣ придется отдать отчетъ Богу.

Онъ думалъ о днѣ послѣдняго Суда.

Но не насталъ ли для него этотъ послѣдній Судъ тогда, когда впервые зазвучалъ въ немъ заглушенный, но незаглушимый голосъ совѣсти и неразрѣшимое противорѣчіе всякой дѣятельности окутало его мысли, какъ сырой осенній туманъ сосѣднія поля?

И развѣ не тѣмъ же чувствомъ проникнуты и продиктованы послѣднія рѣчи величайшаго изъ вождей человѣческихъ, рѣчи похожія на послѣднее оправданіе подсудимаго, и обращенныя къ тѣмъ, кого онъ не видѣлъ съ высоты своего величія и чье существованіе имѣло для него значеніе лишь поскольку они были „пушечнымъ мясомъ“?

И не то же ли самое могъ сказать, если не сказалъ,

другой владыка, нашъ Александръ I, одно время почти такой же могущественный, какъ и первые два, но болѣе мягкій сердцемъ чѣмъ они, чья жизнь была отравленна тѣмъ неизлѣчимымъ отвращеніемъ къ жизни, о которомъ я говорилъ выше?

Ко всѣмъ, къ малымъ и къ великимъ, примѣнимы въ видѣ эпиграфа или надгробной надписи предсмертныя слова самаго могущественнаго изъ земныхъ властителей.

За нѣсколько дней до своей смерти первый Римскій Императоръ, „отецъ отечества", „священный", „божественный", въ торжественныхъ словахъ возвѣщалъ потомкамъ свое величіе и прославлялъ свою дѣятельность: на памятникахъ, въ камнѣ велѣлъ онъ ихъ начертать.

И побѣдно гремѣли они, повѣствуя о томъ, какъ „въ теченіе 56 лѣтъ онъ отомстилъ за пріемнаго отца, положилъ конецъ междоусобной войнѣ на сушѣ и морѣ, облекся всѣми отличіями, вѣнчался всѣми тріумфами, пересоздалъ сенатъ, умножилъ гражданъ, трижды закрылъ храмъ Януса, возвелъ 95 новыхъ храмовъ, развлекъ народъ блестящими зрѣлищами, вернулъ орлы Красса, расширилъ имперію до крайнихъ предѣловъ, и за всѣ эти заслуги получилъ отъ народа лавровый вѣнокъ и вѣнокъ гражданской доблести и отъ сената титулы: „священнаго" и „отца отечества".

И вотъ наступилъ смертный часъ.

Въ послѣдній разъ окинувъ мыслью долгій и успѣшный путь своей жизни и оцѣнивъ ее въ ея истинномъ значеніи, онъ скрылъ отъ другихъ горечь разочарованія и тоску безплодныхъ сожалѣній, потребовалъ ручное зеркало, нарядился, чтобы предстать передъ лицомъ смерти, какъ актеръ передъ выходомъ на сцену, какъ онъ самъ прежде наряжался для толпы, и произнесъ надъ умирающимъ Императоромъ приговоръ Человѣка. „Хорошо-ли я сыгралъ комедію жизни"?— спросилъ онъ у окружающихъ. И прошепталъ традиціонный стихъ эпилоговъ: „рукоплещите, граждане".

Различіе вашихъ характеровъ вы, конечно, сознавали, но только подразнивали другъ друга, добродушно подсмѣиваясь надъ тѣмъ, на что каждый изъ васъ чувствовалъ себя неспособнымъ.

Можетъ быть, и я невольно поддаюсь вліянію того же чувства. Безконечно трудно быть до конца искреннимъ и честнымъ даже передъ самимъ собою.

Но мнѣ все же кажется, что я правъ, поскольку имѣлъ въ виду не черты характера, а обстановку и условія дѣятельности.

Чтобы доказать свою безпристрастность, я вамъ разскажу давнишнее происшествіе, котораго я никогда не забуду и не прощу себѣ, хотя былъ не участникомъ, а только свидѣтелемъ его, или вѣрнѣе: именно потому, что не сумѣлъ стать участникомъ, а остался безсильнымъ и преступнымъ свидѣтелемъ.

Разница темпераментовъ — созерцательнаго и дѣйствующаго, — здѣсь привела бы къ различнымъ результатамъ и безплодныя угрызенія моей совѣсти съ достаточной убѣдительностью осуждаютъ и оправдываютъ второй.

Лишній разъ вы увидите, что справедливость несогласима съ активнымъ вмѣшательствомъ въ жизнь. Но, можетъ быть, поймете, какъ я уже понялъ, что жертвовать справедливостью можно и должно лишь въ пользу человѣка, а не во вредъ ему.

Вы знали только мою сестру по крови. У меня была еще другая. Была... Бы — ла.

Точно протяжные и унылые удары колокола, встрѣчающіе

и провожающіе усопшаго, звучатъ эти два слога, такіе привычные для насъ и все же такіе необычайные, такіе понятные, и все же таинственные, какъ будто безразличные, а въ сущности безнадежные и полные отчаянія.

Было... было... только два слога, только четыре буквы. И въ четырехъ буквахъ — годы, десятки лѣтъ, вся жизнь, вся вѣчность.

Все, что мы знаемъ, испытали, пережили — было. Все, чего мы ждемъ, на что надѣемся, ради чего живемъ — будетъ; и когда будетъ, какъ только будетъ, — и о немъ мы должны будемъ сказать: было.

Было: первое наше дыханіе, съ первымъ нашимъ крикомъ, когда мы не знали себя и не сознавали жизни.

Было: первое смутное ощущеніе себя, какъ чего-то отдѣльнаго, особаго, „своего".

Было: изумленіе, любопытство, довѣрчивая радость, беззлобная печаль, быстрое утѣшеніе, и снова довѣріе и радость, точно все для тебя и только для тебя: и природа, и люди, и причудливая и пестрая смѣна событій.

Было: первое очарованіе весны, первая восторженная мысль о любви, первое желаніе страсти; и первая встрѣча, и первое признаніе и хмѣль перваго обладанія; и вѣра въ свою силу, и увѣренность въ достиженіе того, что достижимо только для мечты. И жизнерадостность окрыленной юности, и твердость зрѣлаго опыта до замедленной поступи все извѣдавшей и ничего необъявшей старости — все было, было. И не будетъ вновь.

Узкая дѣтская кроватка, въ которой такъ просторно; маленькія дѣтскія мысли, которымъ такъ свободно; быстрыя дѣтскія чувства, которымъ нигдѣ не тѣсно; безбрежное поле жизни, гдѣ нельзя развернуться молодой удали; безбрежныя, какъ міръ, думы, въ которыхъ не умѣщается правда дѣйствительности; необъятныя страсти, которыя не заполняютъ сердца, — все было и не будетъ вновь.

Не будетъ вновь прежней близости, долгихъ и тихихъ часовъ дружныхъ бесѣдъ и молчаній, годовъ, прожитыхъ не всегда рядомъ, но всегда вмѣстѣ, ни тихой ласки твоей, ни свѣтлой нѣжности, прозрачнымъ и потому незримымъ родникомъ струившихся изъ твоей души къ чужимъ душамъ. Сестра моя! Первая женщина, которую я любилъ внѣ тюрьмы семьи, послѣдняя, которую я любилъ не въ рабствѣ страсти, безпричинной и безцѣльной, самой благостной, самой свободной любовью.

Тебѣ посвящаю я эти строки, первое и послѣднее признаніе мое, изъ слезъ и улыбокъ, изъ цвѣтовъ и терній сплетенный вѣнокъ.

На твою могилу положу я его и тернія станутъ цвѣтами и слезы превратятся въ улыбку.

На себя возлагаю его и цвѣты превращаются въ тернія и улыбки въ слезы.

Мнѣ было девятнадцать лѣтъ, когда она умерла. Мнѣ было лѣтъ пять, когда я ее впервые увидѣлъ.

Но первая встрѣча была мимолетной и нѣсколько лѣтъ прошло до новой.

Десять лѣтъ прожили мы съ ней, какъ братъ съ сестрой, и, можетъ быть, не было никого, кто былъ бы ей ближе меня и не было никого, кто былъ мнѣ ближе, чѣмъ она.

Она едва помнила отца, рано умершаго. И обожала мать. И мать по своему любила ее.

О, это: „по своему“! о, эта родительская любовь, — дерево, чьи корни — въ сырой и мрачной тюрьмѣ непроизвольнаго и необходимаго; чья листва не тянется къ солнцу и не радуется ему, а тревожно склоняется къ землѣ, дрожа надъ юнымъ цвѣткомъ, расцвѣтающимъ подъ ея сѣнью!

Не пропускаетъ она блестящихъ лучей солнца; но не

можетъ задержать всѣхъ капель быстро струящагося дождя; но безсильна уберечь цвѣтокъ отъ бурнаго вѣтра.

Бѣдная родительская любовь, оттягченная опытомъ, глядящая назадъ, чтобы угадать дорогу впередъ, скованная тѣмъ, что ей кажется высшей свободой — собственной властью и своей безспорной правотой!

Вѣчно жертвуя собою и гордясь своими жертвами, лишаетъ она юную душу радости, свѣта и тепла, и не въ силахъ оградить ее отъ невзгоды.

Мы были подѣтски откровенны, говорили другъ другу все, что думали, но не думали о томъ, что сказать, ни о томъ, что мы думаемъ.

Наша близость была особымъ міромъ въ мірѣ, окружавшемъ насъ, и молчаливымъ соглашеніемъ мы безсознательно установили предѣлы ея свободѣ.

Наша молодость принимала внѣшнія принужденія родительской опеки и школьныхъ занятій, какъ нѣчто естественное, неизбѣжное и неоспоримое.

Во всемъ, что было за предѣлами нашего маленькаго міра, мы видѣли и знали чужую волю, которой привыкли подчиняться.

Лишь понемногу прозрѣваетъ человѣкъ и научается утверждать себя и уважать свою волю, какъ утвержденіе своей личности.

Незамѣтно превращается ребенокъ въ юношу и юноша въ человѣка.

И незамѣтно превращались мы.

Когда случилось то, что я теперь вспоминаю, мы еще не вполнѣ сознали это превращеніе. И это мнѣ кажется моимъ единственнымъ извиненіемъ.

Первый, далекій, раскатъ грома засталъ меня врасплохъ. Но если я недостаточно быстро спохватился и не сумѣлъ

мгновенно сообразить, гдѣ собралась гроза и куда нужно отъ нея укрыться, то виною этому моя „созерцательность“, взвѣшивающая и ищущая справедливости даже тамъ, гдѣ нужно лишь рѣшать и дѣйствовать.

Мы обыкновенно разъѣзжались весной и на три мѣсяца почти теряли другъ друга изъ виду.

Переписываться мы не умѣли, такъ какъ еще не знали, что иллюзіей бесѣды можно создать иллюзію близости.

Но, не привыкнувъ переписываться сначала, мы уже не могли начать переписки впослѣдствіи, потому что для этого намъ надо было бы сговориться и условиться, т.-е. внести что-то намѣренное и нарочное въ естественность и непроизвольность нашихъ отношеній. Этому мѣшала та чуткая до болѣзненности стыдливость, которая является неодолимымъ препятствіемъ для проявленія привязанности и нѣжности, когда человѣка упрекаютъ за нежеланіе или неумѣніе ихъ проявлять.

У меня какъ разъ начались экзамены — эта трагедія всякой дѣтской жизни, одно воспоминаніе о которой полно злой отравы. Просвѣтлѣніе и очищеніе даетъ лишь искусство; самыя великія трагедіи жизни чужды ихъ. И поистинѣ нужно быть слѣпымъ и безмозглымъ, чтобы утверждать, что искусство только подражаетъ жизни и должно по возможности правдиво изображать ее.

Я тогда не разсуждалъ и покорно вѣрилъ той лжи, которой молчаливо вѣрили всѣ. Объ этомъ никогда не говорилось. Но весь строй занятій, вся школьная жизнь, все отношеніе къ нимъ, дома и внѣ дома, неизмѣнно утверждали важность ученія и занятій не какъ цѣли, а какъ средства, и значительность испытаній въ виду возможныхъ результатовъ: перехода изъ класса въ классъ и диплома послѣ окончанія послѣдняго.

Такъ и учились мы: не для знаній, а для диплома и съ первыхъ же шаговъ привыкали уважать не то, что цѣнно само по себѣ, а цѣнить лишь то, что уважаютъ другіе или притворяются, что уважаютъ. Привыкали не себѣ вѣрить, не на себя полагаться, не въ себѣ искать и вырабатывать человѣка, а добиваться чужой оцѣнки, довѣряться чужой поддержкѣ, основываться на чужомъ мнѣніи о насъ, хотя бы добытомъ ложью или униженіемъ.

И дерзновенность юношей, ихъ кажущаяся самоувѣренность и храбрость—основаны не на уваженіи къ человѣку въ себѣ и другихъ, а на презрѣніи къ нему, на вѣрѣ въ свою способность и свое искусство всѣми и всѣмъ воспользоваться для своей выгоды, со всѣми справиться или всѣхъ обойти.

И когда эта вѣра оправдывается и ученикъ становится вліятельнымъ и властнымъ, престарѣлый учитель съ умиленіемъ вспоминаетъ о школьныхъ годахъ своего бывшаго питомца и съ гордостью восклицаетъ: „онъ далеко пошелъ!“ Точно успѣхъ ученика заслуга учителя.

Да и въ самомъ дѣлѣ его заслуга или заслуга его науки. Только не той, представителемъ которой онъ оффиціально значится, а той, которую онъ, самъ того не зная, внушалъ помимо первой и даже въ ущербъ ей.

Напрасно гордишься ты, старый учитель. Лучше великаго ученика своего знаешь ты и теперь, несмотря на свою старость и слабость, то, что такъ тщетно вбивалъ въ его голову. И развѣ ужъ такъ далеко ушелъ онъ отъ тебя?

Развѣ не въ колыбели, какъ и ты, началъ онъ свою жизнь, и не въ гробу, какъ и ты, окончитъ ее?

Развѣ не тѣ же внѣшніе предѣлы ограничиваютъ и его путь, какъ и твой?

И развѣ не прошли вы оба мимо безпредѣльности, не замѣтивъ ея, и не продали за ту же чечевичную похлебку своего первородства,—свою душу, свою личность, боже-

ственное начало свое, человѣка, какъ частицу вѣчнаго и нераздѣльнаго Божества?

Въ самый разгаръ моихъ экзаменовъ сестра внезапно уѣхала. Ее увезла мать.

Какъ-то вскользь слышалъ я, что сестра отказала жениху, котораго ей представили по желанію матери. Я былъ очень занятъ и не обратилъ на эти сплетни вниманія.

Правда, кой-что я замѣтилъ, кой-что уловилъ, почувствовалъ. Была необычайная напряженность во взглядахъ, въ рѣчахъ, въ молчаніи сестры.

Однажды я засталъ ее странно взволнованной передъ обѣдомъ, на который ждали гостей. Я на этомъ обѣдѣ не присутствовалъ.

Мимолетныя впечатлѣнія не могли укрѣпиться въ моемъ сознаніи и быстро забылись.

На время все утихло. Затѣмъ, ранѣе, чѣмъ обыкновенно, сестра уѣхала.

Мать, старая и больная женщина, мечтала о замужествѣ дочери. У нея не было ни родныхъ, ни друзей, никого близкаго, кому она бы могла довѣриться, ни тѣмъ менѣе довѣрить свою дочь.

Смерть, столько разъ подходившая къ ней, похитившая родителей, мужа и двухъ малолѣтнихъ дѣтей, сломила ея вѣру въ жизнь и наполнила душу вѣчной тревогой и вѣчнымъ предчувствіемъ близкаго конца. И она убѣдила себя и другихъ, что не будетъ ей покоя ни здѣсь, ни въ гробу, если сойдетъ она въ могилу, не устроивъ судьбы дочери, не найдя ей защитника, не выдавъ ее замужъ.

Это не было тайной ни для кого. И дочь привыкла къ

желанію матери. И ждала только, чтобы собственный выборъ встрѣтился съ нимъ.

Въ послѣднее время мать болѣла чаще, чувствовала себя хуже и упорнѣе, чѣмъ прежде, говорила о близкой смерти.

Прошелъ мѣсяцъ. И мы узнали объ обрученіи сестры. Поздравили, поговорили. Затѣмъ тоже уѣхали. Свадьба была назначена на августъ. Мы должны были вернуться только въ сентябрѣ.

Я предвидѣлъ, что мнѣ не удастся присутствовать на вѣнчаніи, и тайно раздумывалъ о томъ, стоитъ ли подымать этотъ вопросъ, и начинать непріятные разговоры.

Отдѣльнаго паспорта у меня не было. А мы были за границей. Денегъ тоже.

Противъ этихъ внѣшнихъ препятствій моя воля была безсильна, и всякая рѣшимость была бы напрасной. А я зналъ, что меня не хотѣли отпустить одного.

Кромѣ того, обрядъ вѣнчанія не казался мнѣ самъ по себѣ такимъ значительнымъ, и я утѣшалъ себя мыслью, что смогу вознаградить себя впослѣдствіи, посѣщать сестру и даже гостить у нея, такъ какъ она должна была поселиться въ другомъ городѣ.

Пока я раздумывалъ, взвѣшивалъ и утѣшался, до насъ стали доходить странные слухи.

Говорили, что сестра обручилась противъ воли съ тѣмъ, кому уже разъ отказала передъ отъѣздомъ; обручилась, уступая просьбамъ и слезамъ матери.

Разсказывали, что женихъ былъ ей непріятенъ, чуть ли не противенъ, что она чуждалась его, отстранялась отъ него, была необычайно молчалива и печальна.

Съ разныхъ сторонъ, разными людьми передавалось съ новыми подробностями все одно и то же.

Толковали, разсуждали, качали головами, жалѣли, упрекали. Время шло. День свадьбы приближался. Сестра молчала. Мнѣ стало невмоготу.

Я написалъ ей длинное письмо, сообщилъ все, что слышалъ, молилъ о правдѣ.

И узналъ все.

Карандашомъ написанное письмо начиналось словами: „Дорогой братъ".

Никогда не называлъ я ее сестрой, не звала она меня братомъ...

Мы не опредѣляли своихъ отношеній. не взвѣшивали своей любви, не измѣряли своей близости.

Но всколыхнулись тихія и глубокія воды, заходили волны, захлестнули берега и выплеснули на поверхность то, что таилось на днѣ.

„Дорогой братъ. Я пишу тебѣ ночью. Всѣ спятъ. И мнѣ нужны эта тишина и уединенность, чтобы отвѣтить тебѣ. То, что тебѣ разсказали, правда. Женихъ мой очень порядочный и милый человѣкъ. Онъ мнѣ даже нравится. Но я его не люблю. Я ему это сказала. Но онъ отвѣтилъ, что любитъ меня, что удовлетворяется моей дружбой и надѣется современемъ заслужить мою любовь. Конечно, не объ этомъ я мечтала и не такъ себѣ все это представляла.

Но, можетъ быть, неправы мечты и воображеніе. А можетъ быть, просто мнѣ не суждено яркое солнце жизни. Вѣдь не всѣмъ одинаково свѣтло, и тепло, и радостно.

Согласилась я оттого, что мама умоляла меня ради ея спокойствія послушаться ея совѣтовъ. Она говорила, что заботится лишь о моемъ счастьѣ и что ей виднѣе, гдѣ оно и въ чемъ.

Она разсказала мнѣ, какъ сама вышла замужъ безъ любви, и какъ все же была счастлива, пока папа жилъ.

Она больна и стара, и я не вправѣ огорчать ее.

Не огорчайся и ты за меня. Какъ знать? Можетъ быть все къ лучшему, и когда-нибудь я улыбнусь, вспоминая свое настоящее горе и свои дѣтскія желанія и надежды.

Но что бы ни случилось, проживу ли я долгую жизнь или рано умру, какъ мой отецъ, ты для меня всегда останешься дорогимъ мнѣ и милымъ братомъ".

У меня нѣтъ больше этого письма.

Я не знаю, стерлись ли карандашомъ написанныя строки. Но въ моей памяти, какъ въ мѣди вырѣзаны онѣ, въ моей совѣсти, точно въ камнѣ, высѣчены.

Какія чувства возбудило во мнѣ письмо сестры—не трудно себѣ представить. Первымъ моимъ побужденіемъ было во что бы то ни стало поѣхать къ ней, убѣждать, умолять ее и мать, возмущаться, кричать, грозить и добиться расторженія.

Или, по крайней мѣрѣ, сдѣлать все это письменно.

Вы бы такъ и поступили; поѣхали бы или писали бы.

Меня остановили соображенія, на которыя вы не обратили бы вниманія.

Я спросилъ себя, имѣю ли я право разъединять мать и дочь, стать между ними, вмѣшаться въ ихъ отношенія, можетъ быть возбудить недовольство, отчужденность, вражду.

Вѣдь сестра обожала мать. И если бы послѣдняя умерла съ упрекомъ на устахъ, вся жизнь сестры была бы отравлена.

Не всегда счастливы браки по любви; не всегда несчастны другіе.

А тутъ, по крайней мѣрѣ, ей оставалось сознаніе жертвы, принесенной ради матери и любовь къ ней, и радость и любовь матери.

Я спросилъ себя также, не забываю ли я права матери, возставая противъ нея за сестру.

Вѣдь не зла она желаетъ своей дочери; вѣдь о ней заботится. И въ столкновеніи двухъ воль обѣ могутъ быть одинаково правы. Одна должна уступить. Но чья бы ни уступила, каждая останется права для себя.

И не требуетъ ли справедливость, чтобы вопросъ о томъ, какая изъ двухъ правдъ возьметъ верхъ, разрѣшался безъ посторонняго вмѣшательства? Не согрѣшу ли я противъ справедливости, если свою любовь и свою волю брошу на вѣсы, чтобы они склонились въ сторону сестры? Не пожертвую ли я правдой справедливости ради правды любви? Которая изъ нихъ сильнѣе? Которая безкорыстнѣе? Развѣ не первая, чуждая эгоизма, т.-е. мысли о собственномъ благѣ, о личной выгодѣ?

Сестра мнѣ ближе, чѣмъ ея мать. Но и мать — человѣкъ, и любитъ и страдаетъ, какъ сестра...

Можетъ быть, не такъ точно и опредѣленно сказалъ я себѣ все это тогда. Но основной мотивъ этихъ разсужденій былъ ясенъ для меня и убѣдительности ихъ способствовала надежда на благополучный исходъ.

Какъ знать впередъ? Къ худшему или къ лучшему? Не къ худшему ли мое вмѣшательство? Не къ лучшему ли мое воздержаніе?

Вы бы вмѣшались, не раздумывая и не колеблясь. И были бы правы.

Не потому, что черезъ три года сестра умерла. А потому, что справедливость все равно была нарушена.

Разъ столкнулись двѣ противоположныя правды и тре-

буютъ рѣшенія и поступка, справедливость не можетъ быть соблюдена.

Ибо каждое изъ двухъ возможныхъ рѣшеній будетъ ея нарушеніемъ.

И если чужая коллизія коснулась васъ, если ваше вмѣшательство можетъ измѣнить результатъ ея, вы не въ состояніи остаться вѣрнымъ справедливости.

Ваше вмѣшательство — измѣна; но измѣна и отказъ отъ него.

Ибо воздержаніе въ этомъ случаѣ не приведетъ вѣсы въ равновѣсіе, а только склонитъ ихъ въ противоположную сторону.

Такъ, думая остаться въ сторонѣ, я въ сущности сталъ на сторону матери.

Доспѣхи всякой правды сплетены изъ тысячи мелкихъ колецъ. И всѣ наши мысли, чувства, отношенія къ людямъ, и всѣ ихъ чувства, мысли, отношенія къ намъ — нужныя кольца въ доспѣхѣ каждой правды. И мы не вправѣ вынуть ни одного кольца изъ него, если не хотимъ ослабить ее и дать возможность врагу поразить ее на смерть въ незащищенное мѣсто.

Въ то мѣсто, гдѣ должно было быть кольцо моей любви, была поражена сестра. Я этимъ кольцомъ обручился со справедливостью. И нашъ союзъ родилъ смерть.

Конечно, можно говорить о случайности. Сестра могла бы умереть, если бы вышла замужъ и за любимаго человѣка.

Но вѣдь случайнымъ намъ кажется лишь то, что является для насъ неожиданнымъ или непонятнымъ.

А непонятно лишь то, что кажется безпричиннымъ, въ чемъ мы не улавливаемъ неизбѣжной или по крайней мѣрѣ послѣдовательной связи событій и свершеній.

Когда всѣ звенья цѣпи намъ видны, мы послѣднее звено называемъ: необходимымъ слѣдствіемъ. Когда мы видимъ лишь послѣднее звено и не замѣчаемъ остальныхъ, т.-е. не улавливаемъ причины, мы говоримъ о случайности событія.

Такимъ образомъ, между случаемъ и необходимостью нѣтъ разницы по существу, такъ какъ случай есть лишь непознанная нами необходимость.

Но тутъ на лицо вся цѣпь послѣдовательныхъ событій. А затѣмъ, если бы даже случайность существовала и была въ самомъ дѣлѣ случайной, т.-е. безпричинной и безсмысленной, то и эта безпричинность и безсмысленность не могли бы насъ утѣшить всякій разъ, когда намъ кажется, что мы видимъ причинную связь событій и неизбѣжность происшедшаго.

Поэтому не говорите мнѣ о случайной смерти сестры.

Я и теперь еще готовъ кричать долгимъ и пронзительнымъ крикомъ, когда думаю о ней, кричать безъ мыслей и безъ словъ, безъ надежды и безъ цѣли, кричать до хрипоты, до усталости, до безчувствія, чтобы заглушить ноющую тоску, однообразное причитаніе сожалѣній и угрызеній, злостный скрежетъ чувства безсилія. Склониться надъ могилой и кричать, кричать, кричать.

Но я не кричу, чтобы не разбудить сестру.

И хотя я знаю, что нельзя разбудить ее, хотя не вѣрю въ загробный міръ, подобный этому, и въ воскресеніе мертвыхъ, такъ какъ смерть — конецъ жизни, и если есть иное бытіе, то чтобы не быть безсмысленнымъ и ненужнымъ повтореніемъ, оно не должно имѣть ничего общаго съ нашей жизнью и съ людьми, живущими на землѣ, — я стараюсь не помнить объ этомъ и притворяюсь, что вѣрю ея сну и возможности пробужденія. И въ сущности не кричу не потому, что боюсь разбудить ее, а чтобы не убѣдиться въ невозможности ее разбудить и не разрушить послѣдней своей иллюзіи.

Все-таки съ ней какъ будто легче.

Можетъ быть это слабость, но не такая ужъ безсмысленная.

Мы постоянно разрушаемъ какія-нибудь иллюзіи, но обыкновенно разрушаемъ имъ во имя новыхъ, которыми и замѣняемъ прежнія.

Правда, каждая новая раздвигаетъ предѣлы познаваемаго, расширяетъ область познанія, отодвигаетъ вѣчную тайну, окружающую насъ, все дальше и дальше.

Клочекъ за клочкомъ отвоевываемъ мы у нея.

Но если она безпредѣльна и безпредѣльны наши исканія и наши побѣды, и всегда будетъ тайна насъ окружать и иллюзіи — намъ свѣтить, то не позволительно ли вѣрить или пытаться вѣрить той, которая намъ еще мила и отрадна?

Пожалуй, не только позволительно, но даже разумно и необходимо, пока нѣтъ новой, которая была бы намъ отрадна и мила, какъ прежняя.

Горе тому, кто не сумѣлъ сохранить послѣдней своей иллюзіи, грубой рукой сорвалъ съ нея таинственный покровъ, дерзкимъ взглядомъ заглянулъ за него и увидѣлъ пустоту и позналъ обманъ и остался во мракѣ.

Проклятіе тѣмъ, кто срываетъ свѣтящійся покровъ съ чужой иллюзіи, которой ему нечѣмъ замѣнить.

Скажите мнѣ откровенно, строгій, правдивый и рѣшительный судія: думали вы когда-нибудь о чужихъ иллюзіяхъ и считались съ ними или смѣло разрушали ихъ, насильно раскрывая, какъ еще не распустившіеся цвѣты, которые увядаютъ и осыпаются, лишь только ихъ раскроешь?

Можетъ быть, вы не такъ были бы увѣрены въ своей правотѣ и чаще воздерживались бы отъ осужденій, если бы познали, какъ я, что есть у всякой человѣческой души святая святыхъ, куда она сама не заглядываетъ, а если заглянетъ, не развѣрившись и не создавъ себѣ заранѣе другой, то не въ силахъ уже жить и еще до смерти становится мертвой.

Особенно ярко почувствовалъ я это много лѣтъ тому назадъ, послѣ встрѣчи со старымъ актеромъ.

Онъ ничѣмъ рѣшительно не былъ замѣчателенъ, и на сценѣ, какъ и въ жизни, появлялся всегда только мимоходомъ и тотчасъ же исчезалъ, не оставляя въ другихъ ни воспоминаній о себѣ, ни впечатлѣнія о встрѣчѣ.

Мнѣ приходилось знакомиться съ нимъ каждый разъ снова, такъ какъ я не узнавалъ его, и когда онъ выступалъ въ новой роли, я каждый разъ брался за афишу, чтобы справиться, кто играетъ.

Настоящихъ ролей ему, впрочемъ, не поручали. Онъ довольствовался безропотно всѣмъ, никогда не заявлялъ претензій и не жаловался на несправедливость дирекціи, режиссеровъ или на зависть болѣе вліятельныхъ товарищей.

Казалось, что ни самолюбія, ни честолюбія не было въ немъ, и никакихъ желаній не таилось въ сердцѣ этого тихаго человѣка.

Никто, кромѣ конторщицы и разсыльнаго, не зналъ, гдѣ онъ живетъ, а что онъ дѣлаетъ внѣ театра, оставалось тайной для всѣхъ.

Судьба его, въ тѣ короткія мгновенія, когда я о ней думалъ, представлялась мнѣ ровной, однообразной и безрадостной, чуждой волненій, тревогъ, исканій и разочарованій.

Выросшій въ бѣдной семьѣ, полуинтеллигентной и тусклой, онъ, вѣроятно, соблазнился свѣтомъ рампы, блескомъ рефлекторовъ, мишурой нарядовъ и эффектностью ролей, всей усиленной дѣятельностью напряженной закулисной жизни, и попалъ на сцену безъ призванія, безъ притязаній на выдающееся положеніе, безъ трепета таланта въ душѣ.

Чѣмъ онъ былъ, тѣмъ и остался незамѣтнымъ, не безполезнымъ, но и не особенно нужнымъ членомъ разныхъ провинціальныхъ или спеціально поѣздочныхъ труппъ.

Такимъ я его представлялъ себѣ... И жестоко ошибался.

— Что вы, помилуйте! — запротестовали старые товарищи стараго актера.

— Онъ совсѣмъ не бездарность. Въ былыя времена онъ игрывалъ и первыя роли и недурно справлялся съ ними, а иногда бывалъ прямо-таки интересенъ и захватывалъ зрителей. И самолюбіе у него было большое, и мечталъ онъ не меньше другихъ, и полонъ былъ надеждъ и стремленій не хуже любого изъ насъ.

Несмотря на успѣхъ, выпадавшій на его долю, онъ не очень былъ доволенъ своимъ положеніемъ.

Его завѣтной мыслью было подняться выше, оставить за собой всѣ обыденныя пьесы и роли, выдвинуться чѣмъ-нибудь основательнымъ, настоящимъ и большимъ.

Почему-то особенно его прельщалъ Гамлетъ.

Онъ готовился долго и страстно, изучилъ роль вдоль и поперекъ, носился съ нею, думалъ только о ней и все сводилъ къ одному: когда я сыграю Гамлета...

И онъ его сыгралъ, и не плохо сыгралъ, а такъ, знаете ли, какъ играютъ многіе и многіе, не хуже и не лучше.

Зрители, пожалуй, остались довольны, и намъ онъ понравился. Но съ нимъ что-то такое произошло.

Сыгралъ онъ этого Гамлета два раза. Потомъ, долгое время, нигдѣ и ни въ чемъ не выступалъ, отъ всѣхъ ролей отказывался, даже скрылся куда-то.

Говорили, что онъ пытался найти другое занятіе, другой заработокъ.

Да куда ему было пристроиться? На что онъ годился? Гдѣ бы онъ могъ усидѣть и ужиться? Ну, и вернулся на сцену.

Играетъ, что попало, за ролью не гонится, дѣлаетъ свое дѣло, какъ дѣло, безъ любви и охоты, нигдѣ не бываетъ, ни съ кѣмъ не знается. Точно не живетъ человѣкъ, а доживаетъ жизнь.

Сначала мы къ нему приставали съ совѣтами и увѣщаніями. Потомъ бросили. Не стоитъ... Не помогаетъ.

Въ странной исторіи было много недосказаннаго и это недосказанное было самымъ интереснымъ.

Любопытство мое было возбуждено, и я рѣшилъ добиться правды.

Это оказалось предпріятіемъ нелегкимъ. Старый актеръ былъ необщителенъ и равнодушенъ и ничѣмъ нельзя было его увлечь, ни задѣть.

Тогда я набрался мужества и пошелъ напроломъ.

Я признался ему въ томъ, какой представлялъ себѣ его судьбу, передалъ все, что мнѣ о ней разсказали, и попросилъ объяснить загадочный кризисъ, пережитый имъ. Моя откровенность подѣйствовала на него самымъ неожиданнымъ образомъ.

Онъ вдругъ точно ожилъ, помолодѣлъ, засуетился, подсѣлъ ко мнѣ, пожалъ, какъ-будто благодаря за что, или прося о чемъ-то, руку, сталъ ерошить волосы, нѣсколько разъ принимался говорить и кончилъ тѣмъ, что разрыдался.

Я готовъ былъ проклинать себя за неумѣстное любопытство, которое только растревожило горе старика, сумѣвшаго примириться съ нимъ и одолѣть его.

Надо было какъ-нибудь выйти изъ неловкаго положенія; и я робко промолвилъ:

— Если я васъ огорчилъ, то простите меня, пожалуйста; забудьте о моемъ злополучномъ вопросѣ и повѣрьте, что я умѣю сочувствовать чужимъ страданіямъ, даже не зная ихъ причины.

— Вы думаете, что я отъ оскорбленія или отъ горя? Что вы обидѣли меня?—загорячился онъ.—Нѣтъ! отъ радости... Ей Богу, отъ радости. Чужое сочувствіе такъ отрадно... Вѣдь я прежде пытался объяснить другимъ, чтобы они поняли меня. Мнѣ было бы легче, если бы кто-нибудь понялъ и принялъ участіе. Хотя, въ сущности, не все ли равно? Но никто не отозвался, не повѣрилъ, не захотѣлъ понять. А вы сами догадались, что дѣло тутъ не въ тѣхъ или иныхъ внѣшнихъ причинахъ, а во мнѣ самомъ, въ душѣ моей, и что трагедія, которую я пережилъ, куда значительнѣе для меня и интереснѣе той, которую изобразилъ Шекспиръ въ исторіи о принцѣ датскомъ. Моя-то, конечно, куда проще этой, но какъ погляжу я на нее теперь, издалека, такъ вижу, что не вовсе лишена она смысла и значенія.

Родился я въ небольшомъ имѣніи, принадлежавшемъ моему дѣду. Родители мои поселились тамъ, когда прожили послѣднія деньги.

Имѣніе было заложено и перезаложено. Домъ наполовину развалился и мы помѣстились въ четырехъ комнатахъ, въ которыхъ было довольно тепло зимой, сухо въ слякоть и жарко лѣтомъ.

Домъ былъ самый обыкновенный.

Но въ развалившемся флигелѣ меня занимала одна, наглухо заколоченная комната. Моему дѣтскому воображенію мерещились всякія чудеса, и въ этихъ измышленіяхъ была какая-то особая прелесть.

Старый домъ казался мнѣ привлекательнымъ и цѣннымъ въ сказочномъ освѣщеніи, которымъ окружала его моя фантазія.

Мнѣ удалось узнать, что въ этой комнатѣ повѣсилась младшая сестра моего дѣда и что съ тѣхъ поръ туда никто не входилъ.

Я не давалъ себѣ отчета въ томъ, что тамъ могло быть и чего я ждалъ за заколоченными дверьми, но когда 12-тилѣтнимъ мальчикомъ, послѣ смерти родителей, я открылъ ихъ, и съ особымъ, жуткимъ, но отраднымъ трепетомъ переступилъ черезъ порогъ и увидѣлъ самыя обыкновенныя, запыленныя стѣны, пожелтѣвшіе обои, посырѣвшій потолокъ и обветшалую мебель,—когда сквозь раскрытыя окна блеснуло солнце и освѣтило всѣ углы, и ничего таинственнаго не оказалось во всей этой пыли и грязи,—я пережилъ первое, но неописуемое разочарованіе, такое сильное, что я долго не могъ утѣшиться и перебороть его.

Точно я лишился чего-то нужнаго; точно рушилась какая-то опора и мнѣ не за что было ухватиться, не на чемъ было основаться.

Самъ по себѣ этотъ случай далекаго дѣтства неваженъ.

Но онъ поможетъ вамъ понять драму моей жизни... Исторію съ Гамлетомъ.

Для полнаго разумѣнія дальнѣйшаго я и началъ съ него. Оба случая въ моемъ сознаніи какъ-то слились или сплелись.

Видите ли... Я самъ себѣ кажусь этой старой, наглухо заколоченной комнатой, въ которой юное воображеніе видѣло, жаждало увидѣть что-то необычное, значительное и цѣнное. Такой комнатой была для меня моя душа... Всѣ скрытыя и невѣдомыя силы и способности моей души.

Я вѣрилъ въ себя и, потому, что вѣрилъ, пошелъ на сцену и тянулъ лямку.

Тяжело приходилось, и не покидало меня сознаніе, даже когда удавалась какая-нибудь роль и я имѣлъ успѣхъ, что это все не то, не настоящее, не искусство, а ремесло, не творчество, широкое, искреннее и свободное, а жалкое подражаніе, безсильное, игривое, заискивающее.

Но я вѣрилъ, что способенъ на лучшее, на большее, что заложены во мнѣ иныя силы, что надо только ждать случая, и онѣ проявятся. Такъ точно я ждалъ случая проникнуть въ завѣтную комнату.

Случай представился. Мнѣ дали сыграть Гамлета.

Для другихъ, для всѣхъ, я только пробовалъ себя въ новой, болѣе прежнихъ трудной и отвѣтственной роли. Для меня... Для меня рѣшался вопросъ цѣлой жизни. Гамлетовское быть или не быть выражало мое настроеніе, мои сомнѣнія и мучительныя колебанія.

Я очень волновался. Не успѣхъ, не одобреніе зрителей были важны для меня, а то, какъ я выдержу испытаніе передъ самимъ собой, что окажется во мнѣ, что найду я тамъ, гдѣ таятся лучшія способности человѣка.

Говорятъ, да и самъ я знаю, что я игралъ недурно: даже болѣе того... Но грани, отдѣляющей талантъ отъ... всего остального, я не переступилъ.

Все было гладко, умно, прилично, но все было „въ мѣру", не то, чтобы посредственно, а именно „въ мѣру".

Ни ярко, бурно удачныхъ мѣстъ, ни такихъ же яркихъ, сверкающихъ талантовъ промаховъ.

Оставалась еще одна надежда: можетъ быть, волненіе сковало меня,—и въ слѣдующій разъ...

Но въ слѣдующій разъ было то же самое.

Тогда я убѣдился, что все кончено.

Какъ въ дѣтствѣ я вошелъ въ таинственную комнату... И нашелъ въ ней самую обыденную обстановку... и ничего таинственнаго. Я увидѣлъ въ себѣ душу самаго обыкновеннаго, посредственнаго человѣка.

Конечно, только гордость заставляла меня мечтать объ иномъ и какое имѣлъ я право не довольствоваться тѣмъ, что является удѣломъ громаднаго большинства?

Но мнѣ было не до права и не до справедливости, и не до гордости или смиренія.

Я скрылся, убѣжалъ отъ знакомыхъ, отъ товарищей, пока не переболѣлъ свою боль до конца, пока не сжился съ горькой правдой и не привыкъ къ своему новому для меня „я"... къ вылинявшимъ, пожелтѣвшимъ обоямъ, къ отсырѣвшему потолку съ обвалившейся штукатуркой, къ обветшалой мебели...

Думалъ я совсѣмъ уйти отъ театра. Но пристроиться мнѣ нигдѣ не удалось. Да и сжился я со сценой. И я вернулся. Вотъ такимъ, какимъ вы видите меня.

Развѣ мнѣ не все равно, что играть и какъ играть теперь, когда выхода изъ тюрьмы посредственности на просторъ настоящаго искусства для меня нѣтъ? И жаловаться мнѣ не на кого, и завидовать некому, и все неважно, и жизнь безцѣльна.

И если бъ я не зналъ, что люди не вѣрятъ чужому опыту, не слушаются совѣтовъ и не могутъ быть счастливы по чужой указкѣ, я бы ходилъ по-міру и говорилъ всѣмъ, кто молодъ, не испыталъ себя до конца, и надѣется, и вѣритъ: „Оставляйте наглухо запертой завѣтную комнату въ домѣ; не переступайте порога послѣднихъ тайниковъ въ своей душѣ, чтобъ всегда было вамъ, чѣмъ жить, и оставалось, чему въ себѣ вѣрить".

Мнѣ кажется, что вы недостаточно уважаете чужія иллюзіи, потому что не умѣете цѣнить своихъ, и что въ этомъ вы несомнѣнно виноваты передъ моей сестрой.

Въ сущности исторія вашей любви,—какъ, впрочемъ, и всякой — есть лишь послѣдовательная смѣна иллюзій.

Но обыкновенно иллюзіи разрушаются жизнью, и люди спѣшатъ замѣнить разрушенныя новыми.

Вы же сами разрушали иллюзіи сестры, безжалостно обнажая ихъ, обнаруживая ихъ несостоятельность, убивая ихъ тяжелымъ обухомъ логики или острымъ кинжаломъ насмѣшки.

Иллюзіей, было желаніе сестры—искреннее или притворное — основать отношенія между вами на дружбѣ, а не на любви.

Дружба — почтенное и прекрасное чувство, но чувство безполое.

Сестра же видѣла въ васъ мужчину, какъ вы видѣли въ ней женщину, и не хотѣла бы не видѣть въ васъ мужчины, и сближало васъ именно таинственное притяженіе половъ.

Если мысль объ исключеніи любви могла возникнуть у сестры и на мгновеніе прельстить васъ, то потому лишь, что человѣческая любовь вся опутана ложью, окружена уродствомъ, полна еще неразрѣшенныхъ противорѣчій, вѣчныхъ разочарованій и униженій.

Идея грѣха затемнила и загрязнила ее, отравила ея свѣжія и чистыя струи, какъ ядовитая змѣя, скрывающаяся на днѣ родника, отравляетъ его воды.

Кто изъ васъ первый измѣнилъ договору, я не знаю.

Но иллюзію дружбы сознательно разрушили вы, познакомивъ съ сестрой своего старѣйшаго и ближайшаго друга.

Дружба измѣряется близостью и длительностью. И въ томъ и другомъ отношеніи сестра ужъ, конечно, не имѣла никакихъ преимуществъ передъ вашимъ другомъ.

Если она была вамъ только другомъ, то, очевидно, не первое мѣсто занимала и не могла на него разсчитывать.

Старый другъ, во имя самой дружбы, долженъ быть ближе новаго.

Сестра рѣзко ощутила ложь тѣхъ словъ, которыми, какъ маской, закрывала отъ себя истинный обликъ своей близости съ вами.

Не друзьями были вы, разъ дружба исчерпывается тѣмъ, что связывало васъ съ другимъ мужчиной.

Такъ, — не тайно, — а открыто—перешли вы къ любви, т.-е. признали совершившееся.

Но признали съ оговорками и ограниченіями, въ основѣ которыхъ лежала все та же идея грѣха.

Иллюзію дружбы сестра замѣнила иллюзіей духовной любви.

Не преодолѣвъ дуализма плоти и духа, считая плоть низшимъ началомъ, зломъ, и ея проявленія унизительными и грѣховными, сестра пыталась убѣдить и себя и васъ въ существованіи двухъ различныхъ, отдѣльныхъ, самостоятельныхъ „любвей“: любви физической и любви духовной. Она пыталась вѣрить тому, что каждая можетъ существовать и проявляться самостоятельно, и если бываютъ совпаденія и встрѣчи между ними, то лишь случайно, а не необходимо.

Длинный рядъ прошлыхъ вѣковъ возставалъ изъ могилъ и нашептывали они вамъ свою ложь, которую выцавали за непроложную истину. И не слыша ни откуда другой, вы вѣрили ей, какъ вѣрили ваши отцы и дѣды.

Истиной казался вамъ догматъ грѣховности плоти, противоположеніе чувственности цѣломудрію, и грѣхъ любви представлялся неодолимымъ и неизбѣжнымъ искушеніемъ.

Съ нимъ соединялся, чтобы еще болѣе устрашить васъ, запутать и соблазнить, лукавый призракъ измѣны, и не вами впервые признанная, но не опровергнутая вами честь возвышала голосъ съ увѣренностью тѣхъ, кто не слышалъ и не слышитъ возраженій.

Новая иллюзія сестры не была безпочвенной и разворачивала знакомое знамя, на которомъ выцвѣтшими отъ времени буквами было начертано имя древняго мудреца.

Если наши предки невѣрно поняли Платона, то вѣдь это невѣрное толкованіе было освѣщено вѣками, и платоническая любовь, можетъ быть чуждая ему, стала понятіемъ вполнѣ опредѣленнымъ и очевиднымъ для каждаго.

Вполнѣ опредѣленнымъ было оно и для сестры и въ этой опредѣленности черпала она увѣренность и твердость и даже какъ будто гордилась тѣмъ, что нашла выходъ всѣмъ извѣстный, но для большинства недоступный.

Все это было, конечно, самообманомъ, построеннымъ на лжи, хотя и освященной вѣками, но отъ этого не преобразившейся въ истину. Лишь отвлеченно, а не эмпирически можно отдѣлять любовь отъ чувственности и то лишь допуская отожествленіе женственнаго начала съ матеріей, съ плотью, а мужественнаго —съ духомъ, и принимая на вѣру предположеніе о томъ, что половое влеченіе проявляется чувственностью, будучи пропущено сквозь матерію, и любовью, — когда оно проходитъ — сквозь духъ.

Практически такое разграниченіе было бы возможно лишь при полной дифференціаціи мужественнаго и женственнаго началъ въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ.

И этимъ совершенно не предрѣшается вопросъ о томъ, правильны ли вообще такое предположеніе и такое отожествленіе, каковы его основанія и послѣдствія.

Для того, чтобы любовь духовная и любовь физическая могли существовать раздѣльно и независимо другъ отъ друга, нужно было бы существовать раздѣльно плоти и духу.

А они связаны, сплетены, сліянны, взаимно вліяютъ одинъ на другую и когда связь порывается, наступаетъ смерть, небытіе. Безжизненное тѣло истлѣваетъ. И мы не знаемъ, что дѣлается съ душой. Можетъ быть она начинаетъ новое существованіе, иное. Но это ничѣмъ не подтверждается и о невѣдомомъ мы говорить не въ состояніи.

Въ здѣшнемъ мірѣ, въ этой жизни, душа и тѣло нераздѣльны, и если тайной остается для насъ, какимъ образомъ совершается взаимодѣйствіе между ними, то самый фактъ взаимодѣйствія неоспоримъ и непреложенъ.

Человѣческій умъ имѣетъ склонность къ обобщеніямъ, помогающимъ ему разобраться въ сложныхъ и противорѣчивыхъ явленіяхъ жизни и способствующимъ уразумѣнію послѣднихъ, хотя бы вопреки ихъ дѣйствительному значенію.

Изъ этой склонности ума вышло ученіе о противоположностяхъ.

Такъ, духовная жизнь стала противополагаться физической, душа—тѣлу, потому что этимъ упрощалось пониманіе тѣхъ сложныхъ сплетеній, въ которыхъ безконечно трудно разобраться.

Развитіе науки, и познанія вообще, идетъ путемъ компромиссовъ.

Исходя изъ того, что признано, но двигаясь впередъ со строгой логической послѣдовательностью, познаніе сталки-

вается съ глубокими противорѣчіями и, не рѣшаясь сразу порвать съ прошлымъ, гдѣ очевидно, кроется заблужденіе, пытается смягчить его и примирить съ тѣмъ, что оно только что раскрыло и освѣтило. Противоположеніе души и тѣла такъ внѣдрилось въ человѣчествѣ, что наука не смѣла возстать противъ него даже, когда познала тѣсную связь, послѣдовательность и, не противоположность, а полное соотвѣтствіе между явленіями психическими и физическими, и она обошла затрудненіе, допустивъ посредствующіе процессы физіологическіе, поставивъ физіологію между физикой и психикой.

Противопоставленіе чувственности и цѣломудрія въ любви такое же коренное заблужденіе, вызванное тѣми же причинами. Оно давало возможность разобраться въ безконечномъ видимомъ противорѣчіи различныхъ явленій и проявленій любви, примирить ихъ, объяснить и подвести подъ опредѣленныя оцѣнки.

Противорѣчій дѣйствительно было какъ будто много.

Съ одной стороны любовь, обаяніе которой знакомо каждому, любовь, въ которой чувствуется что-то хорошее, возвышенное и возвышающее, прекрасное и чистое, любовь, вызвавшая не одинъ истинно-геройскій подвигъ, воспѣтая всѣми поэтами во всѣ времена, по всему земному шару.

Съ другой стороны та же любовь, знаменующая себя страстью дикой и губительной, толкающая людей на преступленія, превращающая ихъ въ звѣрей, развращающая и оскверняющая, и все это не по временамъ только и не въ видѣ исключенія, а всегда и постоянно.

Библія и Геродотъ описываютъ развратъ царившій въ Азіи. Культъ Ваала былъ, главнымъ образомъ, противоестественной любовью, сопровождавшейся убійствомъ. Солонъ основалъ диктеріоны, убѣжища легальнаго разврата, для того чтобы удовлетворить пороки и этимъ отвлечь ихъ отъ преступленій. Школы философовъ, лицеи и гимназіи

были разсадниками разврата, утонченными и литературно-преступными. Въ „Діалогахъ куртизанокъ“ Лукіанъ разсказываетъ, какъ Клао, влюбленная въ солнце, убила дѣвушку съ золотистыми кудрями. Въ Римѣ—то же самое. Отъ эпилептика Цезаря до Геліогабала тянется вереница порочныхъ, развратныхъ и преступныхъ сладострастниковъ. Нужно всмотрѣться въ картину развращенности, всеобщей и всесильной. въ концѣ древней эры, чтобы понять цѣломудріе рѣзкое, полное, нетерпимое Святаго Павла и первыхъ христіанъ. Вокругъ нихъ не было мѣста для любви безъ преступленія: они отвернулись отъ любви, бѣжали отъ женщины. Но трапезы христіанскія часто были оргіями, гдѣ мистическіе фанатики, въ изступленіи цѣломудрія воскрешали пороки и порочныя преступленія ненавистныхъ имъ язычниковъ. Начало владычества покорившихъ Европу варваровъ не отличается большей чистотой. Карлъ Великій посвящаетъ одинъ изъ своихъ капитуляріевъ позорнымъ порокамъ „которые ведутъ къ убійству совершаемому въ сладострастіи“. Осужденіе Тампліеровъ вызвано тѣми же пороками. Позорныя и преступныя страсти инкубовъ, суккубовъ, людей одержимыхъ діаволомъ, заполняютъ весь четырнадцатый вѣкъ. Исторія или легенда повѣствуетъ о Жиллѣ де Рецъ де Лаваль, камергерѣ и маршалѣ короля Карла седьмого, современникѣ Орлеанской Дѣвы. Онъ принесъ въ жертву своимъ преступнымъ страстямъ восемьсотъ человѣческихъ жизней, обезчестивъ тѣхъ, кого убилъ. А Медичи? А Вендомъ при Людовикѣ XIV? А маркизъ де Садъ? А „клубъ эроса“, основанный г. де Шамбонасъ, гдѣ убійство послѣ любви стоило всего 300 экю штрафа? И, наконецъ, развѣ не понадобилась бы цѣлая книга, чтобы перечислить всѣ преступленія, совершенныя на протяженіи XIX вѣка? Въ Аугсбургѣ извѣстный злодѣй разрѣзывалъ женщинъ; въ Боценѣ другой прокалывалъ дѣвушекъ. Вашэ былъ казненъ въ Ліонѣ; Мишель Блохъ былъ осужденъ на шестимѣсячное

тюремное заключеніе. Католическій священникъ въ окрестностяхъ Парижа выкапывалъ трупы и осквернялъ ихъ; и онъ далеко не единственный. Видаль былъ осужденъ на смерть въ самомъ концѣ прошлаго столѣтія: чудовищный убійца въ Бургъ-ля-Реннъ подъ Парижемъ, подстерегавшій женщинъ, чтобъ изнасиловать и потомъ задушить ихъ, такъ и не былъ найденъ. Звѣрское преступленіе Солейана возмутившее Парижъ, всю Францію и всю Европу, не является ни единичнымъ, ни исключительнымъ, а повторяется каждый день во всѣхъ концахъ вселенной.

Какъ согласовать преступленія любви съ ея обаяніемъ, красотой и чистотой?

Послѣдовательный въ заблужденіяхъ, какъ и въ истинѣ, человѣческій умъ, допустивъ противоположеніе души и тѣла, отдѣливъ одну отъ другого, нашелъ разрѣшеніе вопроса въ томъ же раздѣленіи, разбилъ любовь на чувство и чувственность, противопоставилъ цѣломудріе сладострастію, и приписалъ любви духовной всѣ качества и достоинства, а похоти — всѣ недостатки и пороки.

Правда, при такомъ противоположеніи похоти цѣломудрію должно было возникнуть сомнѣніе въ правильности вывода, такъ какъ, повидимому, цѣломудріе безплодно, а похоть — плодовита, и неразрѣшимое противорѣчіе обрекало человѣчество или погибнуть въ чистотѣ или существовать въ порокѣ. Но это сомнѣніе смутило лишь немногихъ, а они вышли изъ затрудненія, рѣшивъ, что въ этомъ и заключается кара Господня и крестъ, возложенный на человѣчество. Къ этому пониманію подводились и древняя легенда о грѣхопаденіи и христіанское ученіе о бракѣ, толковавшееся, какъ компромиссъ, какъ частичный отказъ отъ идеала ради естественной необходимости.

Но стоитъ ближе всмотрѣться въ то, что есть и было, вникнуть въ то, что было сказано, и малодушное разрѣшеніе великой загадки покажетъ всю свою несостоятельность.

Цѣломудріе безплодно, а похоть—плодовита?

Развѣ это вѣрно? Развѣ пороки любви, разнузданный развратъ, извращенное сластолюбіе не безплодны? Развѣ они не ослабляютъ организма, не дѣлаютъ его неспособнымъ на созданіе новой жизни? Развѣ они не ведутъ къ убійству, т.-е. къ смерти?

Извѣстная степень похоти такъ же безплодна, какъ то, что мы зовемъ цѣломудріемъ и что собственно есть только извѣстная степень цѣломудрія.

Дѣло въ томъ, что нѣтъ въ человѣкѣ непримиримыхъ противоположностей, что все связано и послѣдовательно, что одно вытекаетъ изъ другого, одно продолжаетъ другое, а не отрицаетъ его.

Смѣхъ, доведенный до извѣстной степени напряженія, переходитъ въ слезы; сонъ, т.-е. отдыхъ, слишкомъ продолжительный, вызываетъ усталость. Нѣжность въ извѣстной степени напряженія, порождаетъ потребность причинить боль. Древняя истина, что любовь близка ненависти, стала общимъ мѣстомъ. И это до того очевидно, что нельзя было не признать этихъ фактовъ, и признаніе это было закрѣплено въ формѣ пародокса les extrémités se touchent — крайности соприкасаются.

Такъ же близки напряженное цѣломудріе и напряженная похоть, такъ же близки и такъ же нечисты, позорны и преступны. Развѣ аскеты были чисты? Ихъ цѣломудріе, напряженное и изступленное, граничило съ развратомъ, заставляло ихъ переживать воображеніемъ непередаваемыя оргіи, которыя такъ ярко описаны въ знаменитомъ „Искушеніи Св. Антонія“. Они были такими же преступниками, какъ и Видаль или маркизъ де-Садъ, и если ихъ преступленіе не такъ ужасно, какъ преступленія послѣднихъ, то

потому лишь, что аскеты уродовали и убивали собственное тѣло, а не тѣла другихъ.

Преступленіе ихъ было не въ самоистязаніи, вызванномъ самоотреченіемъ, а въ слѣпотѣ и несвободѣ его, такъ какъ они не свободно выбирали этотъ путь, а уступали страху грѣха, рабски покорялись чужому авторитету и дѣлались нетерпимыми къ другимъ и къ себѣ. Попранная ими правда возмущалась и мстила.

Такимъ образомъ какъ-бы становится яснымъ, что чистота или плодовитость не существенные аттрибуты цѣломудрія и похоти.

Въ этомъ насъ еще убѣждаютъ древніе, у которыхъ Артемида, воплощеніе цѣломудрія, покровительствовала женщинамъ въ порывахъ сладострастія и въ мукахъ рожденія, т.-е. не отрицала похоти, а знаменовала собою „чистую похоть", между тѣмъ какъ Афродита, или Римская Венера, воплощеніе похоти, казалась древнимъ злой, преступной, развратной, т.-е. олицетвореніемъ „нечистой похоти".

У Афродиты были впрочемъ различныя наименованія и она представлялась людямъ въ различныхъ образахъ, была и дѣвственной и распутной, и матерью и куртизанкой, и доброй и чистой любовницей, и злой и кровожадной сладострастницей, Афродитой земной и Афродитой небесной. Послѣдней впрочемъ, какъ это ни странно, впервые были воздвигнуты алтари и вознесены славословія въ христіанской тюрьмѣ средневѣковья, гдѣ чахлымъ, тепличнымъ цвѣткомъ неожиданно расцвѣлъ не по здѣшнему прекрасный и загадочный культъ Мадонны.

Въ Римѣ охранительницей семейнаго очага, любви супружеской—и духовной и физической—была дѣвственная, т.-е. чистая, Веста.

Съ такимъ пониманіемъ согласно и ученіе Христа.

Связь любви физической и любви духовной подтверждается тѣмъ, что человѣкъ начинаетъ ощущать любовное томленіе, начинаетъ любить, только съ момента полового назрѣванія, и что скопцы, если они родились безсильными или были изуродованы съ дѣтства, не знаютъ любви. Обычная ихъ нелюдимость, доходящая до ненависти, въ особенности къ женщинамъ, но и ко всѣмъ людямъ вообще, является лишнимъ и очень значительнымъ доводомъ противъ обычнаго разграниченія любви.

Поэтому отвлеченіе душевныхъ состояній и переживаній отъ физическихъ есть лишь логическій или, вѣрнѣе, діалектическій процессъ, но реальности жизненной оно противорѣчитъ самымъ кореннымъ образомъ.

Между мужчиной и женщиной не бываетъ любви безъ чувства пола, т.-е. безъ болѣе или менѣе ярко выраженнаго чувственнаго влеченія.

Говоря просто: не бываетъ между ними любви безъ желанія, безъ жажды обладанія.

И если иногда говорятъ, что бываетъ желаніе безъ любви, то, лишь вслѣдствіе заблужденія, конечный выводъ котораго является результатомъ правильнаго умозаключенія, но основанъ на невѣрной предпосылкѣ.

Когда говорятъ о желаніи безъ любви, то имѣютъ въ виду людей, которыхъ называютъ чувственниками, развратниками, и думаютъ о любви продажной или о тѣхъ случайныхъ, мгновенныхъ, неповторныхъ встрѣчахъ, содержаніе которыхъ исчерпывается голымъ актомъ обладанія, которымъ ничто не предшествовало, кромѣ физическаго возбужденія, за которыми ничего, кромѣ пресыщенія, не послѣдуетъ,

Тайна пола—великая и сложная тайна и человѣчество до сихъ поръ не только не разобралось въ ней и не освѣтило ея, но тщательно обходило, гдѣ только могло, а гдѣ не могло обойти, еще тщательнѣе затемняло.

Поэтому такъ трудно не то, чтобы заглянуть въ нее, но даже подойти къ ней вплотную.

Но придерживаясь тѣхъ скудныхъ откровеній, которыя даются жизнью, опытомъ, вѣчно повторяющимся и извращаемымъ лишь упорнымъ нежеланіемъ людей съ нимъ считаться—можно утверждать, что не бываетъ чувственныхъ вспышекъ безъ любви, что отъ самыхъ блѣдныхъ, малыхъ, мгновенно потухающихъ искръ желанія, на мигъ загорается блѣдное, малое, еле замѣтное пламя любви.

И какъ духовныя переживанія отражаются на тѣлѣ—въ выраженіяхъ лица и въ болѣзняхъ, какъ выраженія лица нарочно изображаемыя, вызываютъ соотвѣтственныя душевныя настроенія,—и болѣзни—соотвѣтственныя душевныя состоянія,—такъ можно къ чувственности итти отъ любви или къ любви отъ чувственности.

Одно изъ различій между душевными состояніями и физическими—въ большей длительности и меньшей ограниченности первыхъ.

Поэтому, когда душевное состояніе вызвано только физическимъ, является только его спутникомъ, и сила, начавшая движеніе, недостаточно сильна, чтобы преодолѣть мертвую точку, замкнуть кругъ взаимодѣйствія и, придя къ душевнымъ состояніямъ отъ физическихъ, продолжить движеніе къ физическому отъ душевнаго,—послѣднее прекращается съ прекращеніемъ перваго. То же самое можетъ произойти и въ обратномъ направленіи.

Поэтому бываетъ разная длительность въ любви, бываютъ мгновенныя влюбленности, которымъ сопутствуютъ такія же мгновенныя чувственныя влеченія.

Поэтому бываютъ чувственныя возбужденія, короткія, какъ вспышки пороха, которымъ сопутствуютъ такія же короткія настроенія любви.

Послѣднія не такъ замѣтны и трудно уловимы. Ибо духовныя состоянія уступаютъ физическимъ въ ощутимости,

видимости, осязательности. И чѣмъ мгновеннѣе первыя, тѣмъ менѣе они уловимы и осязательны.

Этимъ объясняется заблужденіе тѣхъ, кто говоритъ о желаніи безъ любви.

Не бываетъ такого желанія.

Даже въ темной, грязной и затхлой конурѣ проститутки, даже среди откровенной и показной продажности публичнаго дома, ярко вспыхиваютъ быстро угасающія искры желанія и незримо загорается, незримо угасая, единое пламя любви.

Грузенъ станъ; отвисли груди;
Кожа дряблая желта...
Вѣрьте чуду, люди, люди!
Чудо скрыла темнота;

Но во тьмѣ лучемъ мгновеннымъ
Мнѣ блеснула, сливъ черты,
Надъ уродствомъ несомнѣннымъ
Несомнѣнность—красоты.

Паѳосъ чувственности тотъ же что и паѳосъ любви. И въ послѣднемъ блаженствѣ обладанія тѣ же скрыты возможности, что и въ блаженствѣ любви.

Уродство не въ томъ, что иногда чувственность какъ будто преобладаетъ надъ любовью, а въ томъ, что не признаемъ мы ея паѳоса, не хотимъ видѣть ея, унижаемъ ее и топчемъ въ грязь и принуждены сами склоняться въ эту грязь за нею и барахтаться въ ней, ослѣпленные липкими комьями залѣпившими глаза, покрывшими лицо и руки и все тѣло, точно проказа, въѣвшаяся въ плоть и кровь, опоганившая сквозь нихъ нашу душу.

Не въ томъ бѣда, что жаждемъ мы обладанія, а въ томъ, что жажду эту считая унизительной, все же уступаемъ ей.

Отвергая святость плоти равную святости души, мы должны или отречься отъ нея, побѣждая искушеніе, или унизить себя, уступая ему, и презирая себя за свою слабость и порочность.

Но отречься отъ плоти значитъ отвергнуть полъ-міра и къ тому же самую осязательную, близкую намъ, предметную половину его, и проповѣдывать небытіе, ибо жизни нѣтъ безъ плоти.

Но принять ее, осудивъ, значитъ отдать себя во власть грѣху, жить въ грѣхѣ.

И нѣтъ выхода изъ противорѣчія, пока не освѣтитъ его вѣчная правда, благословляющая оба пути — и путь духа, и путь плоти.

Черезъ плоть къ духу или сквозь духъ къ плоти — оба пути равноцѣнны, такъ какъ равно ведутъ къ познанію и признанію высшаго добра, истинной красоты, соединяютъ насъ съ ними, съ міромъ, съ бытіемъ.

Конечно, не оправдывается этимъ развратъ. Но развратны не чувственныя влеченія, а наши отношенія къ нимъ.

Развратно не обнаженное тѣло, красота котораго такъ же чиста, возвышенна и свята, какъ и красота духовная, — развратнымъ можетъ быть лишь отношеніе человѣка къ наготѣ.

Но этимъ отношеніемъ онъ не измѣняетъ сути красоты, отрицаетъ ее не по существу, а лишь для себя, не ее, а себя осуждаетъ.

Слѣдовало бы отвергнуть все искусство, считать его нечистымъ, унизительнымъ и унижающимъ, если бы все плотское, физическое дѣйствительно было такимъ. Такъ долгое время и поступала церковь, послѣдовательная въ своемъ заблужденіи, но очевидно заблуждающаяся.

Слѣдовало бы отвергнуть весь видимый міръ, и птицъ, и звѣрей, и цвѣты, и деревья, поля и лѣса, горы и рѣки, если унизительна и нечиста красота формъ, очертаній, красокъ, оттѣнковъ, внѣшнихъ сочетаній, если грѣховна плоть, эта внѣшняя оболочка всего существующаго, живущаго, цвѣтущаго, плодящагося, превращающагося, — сквозь которую таинственно и ласково свѣтитъ намъ живая душа природы, неопредѣлимая и необъемлемая, но несомнѣнная и неотдѣлимая отъ прекраснаго тѣла видимаго міра. Опять-таки такъ и поступала церковь, желая быть вѣрной ученію Евангельскому и не замѣчая того, какъ она расходится съ самыми несомнѣнными послѣдователями Христа, съ Францискомъ Ассизскимъ и святымъ Винцентомъ де Полемъ, и съ самимъ Христомъ.

Но если это не такъ, если красота внѣшняя говоритъ намъ о красотѣ внутренней, — не можетъ не говорить о ней, — если „все преходящее лишь символъ", сквозь который мы прозрѣваемъ вѣчное, если идея стремится къ воплощенію и, воплотившись, въ образѣ внѣшнемъ отражается, и не нарушается связь, а только двоякимъ становитъ путь постиженія, — то по какому праву отвергнемъ мы одно, признавая другое, гдѣ найдемъ оправданіе себѣ, чѣмъ докажемъ свою правоту?

И если мы отвергнемъ реальность даннаго міра ради реальности иного, если вѣчное, единственно реальное, сочтемъ символомъ временнаго, иллюзорнаго бытія, то мы опять-таки не опровергнемъ, а утвердимъ связь между обоими, утвердимъ оба міра и только вывернемъ наизнанку отношеніе между ними.

Я знаю: о грѣхопаденіи учатъ религіи и ученіе это, недоказуемое и недоказываемое, принимается за аксіому.

Аксіомы въ наукѣ —это такія очевидныя истины, которыя

не только недоказуемы, но и не требуютъ доказательствъ, не только очевидны, но и всегда подтверждаются данными опыта, и никогда ему не противорѣчатъ.

Съ религіозными истинами не такъ.

Онѣ недоказуемы, какъ и первыя, но не очевидны. И принимаются на вѣру, пока имъ вѣрятъ.

У вѣры свои особые законы и особыя требованія. Ни метрики доказательствъ, ни формуляра опыта ей не нужно. Она вѣритъ, потому что „это безсмысленно".

Но зато нѣтъ ничего непостояннѣе, измѣнчивѣе, неположительнѣе, чѣмъ она. Никто быстрѣе и бездумнѣе, чѣмъ она, не

„Сжигаетъ чему поклонялась,
Чтобъ молиться тому, что сожгла".

Можно вѣрить, наперекоръ очевидности, что дважды два — пять. Съ этимъ ничего подѣлать нельзя. И о такой вѣрѣ говорить не стоитъ.

Истинная же, единственно достойная человѣка вѣра начинается лишь тамъ, гдѣ кончается знаніе и не наперекоръ очевидности, а согласно ей въ каждую историческую эпоху возводитъ свои храмы и молится своимъ богамъ.

Изъ того, что кѣмъ-то, когда-то, можетъ быть и очень умными людьми, было что-то сказано или написано, еще не слѣдуетъ, что это есть вѣчная, непреложная и послѣдняя истина.

Всѣ священныя книги всѣхъ религій, дошедшія до насъ, были написаны людьми. Если послѣднимъ и было даровано откровеніе свыше, то лишь въ смыслѣ вдохновенія, ума, таланта.

И ужъ во всякомъ случаѣ очевидно, что не Богъ водилъ ихъ рукой и долженъ подписаться подъ всѣмъ, что они написали. Слишкомъ много противорѣчій въ этихъ книгахъ, чтобы можно было допустить единство автора, т.-е. Боже-

ства, вдохновившаго ихъ. Слишкомъ многое не соотвѣтствуетъ въ нихъ новымъ знаніямъ человѣчества и, очевидно, соотвѣтствовало прежнимъ, чтобы можно было говорить о безспорной истинности всего того, что въ нихъ утверждается.

Мы теперь отлично знаемъ, какъ вообще возникали, составлялись и развивались священныя писанія.

И если мы прежнія отвергаемъ, какъ заблужденія, и считаемъ истинными лишь послѣднія, то мы поступаемъ лишь, какъ поступали наши предки, и по своему правы.

Но когда мы, подобно тѣмъ же предкамъ, утверждаемъ что намъ дарована окончательная и послѣдняя истина, и никакой иной уже не можетъ быть въ грядущемъ, — то мы только доказываемъ, что не далеко ушли отъ прародителей своихъ, что „все забыли и ничему не научились".

А между тѣмъ доводы Разума, согласные съ опытомъ десятковъ тысячелѣтій человѣческой исторіи, давно уже убѣждаютъ насъ въ вѣчномъ движеніи и развитіи, въ вѣчной смѣнѣ и замѣнѣ не только формъ, но и сути, не только событій, поколѣній, обычаевъ, интересовъ и законовъ, но и понятій и вѣрованій, т.-е. истинъ научныхъ и религіозныхъ.

И если можно говорить о неизмѣнности, имѣя въ виду религію, то лишь о неизмѣнности религіознаго чувства, которое и является единственно важнымъ и единственно и безусловно истиннымъ.

Оно постоянно ищетъ объекта, формъ, въ которыя вылиться, воплощеній.

Но, являясь частью того гармоничнаго цѣлаго, которое мы зовемъ человѣкомъ, занимая строго опредѣленное мѣсто въ ряду другихъ его чувствъ и побужденій, религіозное чувство не можетъ быть и никогда не было независимымъ, самостоятельнымъ, самоцѣльнымъ. Оно всегда обусловливалось всѣмъ тѣмъ, что составляетъ человѣческое міросозер-

цаніе — это кружево, чьи узоры вѣчно утончаются и все тѣснѣе переплетаются по мѣрѣ того, какъ увеличивается разстояніе между первобытностью и современностью.

И каждая новая религія, каждое новое воплощеніе религіознаго чувства были не только въ соотвѣтствіи съ новымъ міросозерцаніемъ человѣчества, съ новой наукой, съ новой этикой, съ новой эстетикой, но и всегда являлись какъ бы зеркаломъ, въ которомъ оно отражалось.

Но какъ всякое зеркало отражаетъ лицо глядящаго въ него не спереди только и какъ онъ привыкъ себя видѣть, но и сбоку и сзади, т.-е. такъ, какъ онъ себя обыкновенно не видитъ и не представляетъ, и не только его лицо, но и все, что окружаетъ его со всѣхъ сторонъ и чего онъ, быть можетъ, и не замѣчалъ, такъ и религіи всегда отражали не только то міросозерцаніе, которое было, по крайней мѣрѣ для меньшинства, знакомымъ и сознательнымъ, но и многое иное, чего еще не замѣтили люди и не сознали въ себѣ.

И хотя авторитетомъ Божества, Божественнаго Откровенія, прикрывались всѣ новыя ученія, точно щитомъ, но обычно провозвѣстники ихъ не только были людьми, простыми смертными, „отъ женщины рожденными“ людьми, но и не выдавали себя за нѣчто иное.

Только одинъ разъ, только въ одномъ изъ нихъ промелькнуло сознаніе собственной Божественности.

Ничѣмъ реальнымъ, видимымъ, не доказалъ Онъ ея.

И почти единственный изъ всѣхъ не завѣщалъ ни одной строчки, ни одного написаннаго слова потомкамъ.

Все, что мы знаемъ о Его ученіи, передано намъ, записано послѣ Его смерти, Его учениками, т.-е. опять таки обыкновенными людьми.

Провѣрить ихъ мы не можемъ; мы можемъ только повѣрить имъ.

Все же они были близки къ Нему, и обаяніе Его личности, несомнѣнно исключительное, вѣроятно, въ достаточной мѣрѣ удержало ихъ отъ искаженія событій, которыхъ Онъ былъ участникомъ, и словъ, которыя Онъ говорилъ. Очевидно, что кое-что было впослѣдствіи приписано Христу его учениками на основаніи позднѣйшихъ фактовъ, и такимъ образомъ разсказывается о пророчествахъ, которыя отъ Него вовсе не исходили. Очевидно, что не обошлось безъ прикрасъ и дополненій. Но въ сущности это даже не важно Значеніе для насъ могутъ имѣть лишь то впечатлѣніе, которое онъ произвелъ на окружающихъ, близкихъ и далекихъ, то представленіе, которое создалось о немъ, то освѣщеніе, которое получили въ ихъ глазахъ событія Его жизни— дѣйствительныя или вымышленныя — это безразлично, — но во всякомъ случаѣ строго соотвѣтствовавшія характеру Его дѣятельности и Его ученія и запечатлѣвшіяся въ писаніяхъ четырехъ ближайшихъ Ему учениковъ.

Въ четырехъ Евангеліяхъ дѣйствительно не встрѣчается такихъ основныхъ противорѣчій, которыя заставили бы насъ отбросить одни и принять другія и спорить о томъ, какія отбросить и какія принять.

Конечно, не все въ нихъ ясно, и многое можно толковать различно.

Но несомнѣнно одно: напрасно искали бы мы въ нихъ оправданія тому отношенію къ полу и плоти, которое легло въ основу христіанства и направило его по историческому пути, доведшему его до насъ.

Если даже признать съ господствующей церковью авторитетъ священныхъ писаній, то и въ такомъ случаѣ ученіе ея о грѣховности плоти и пола со всѣми выводами, которые она изъ него сдѣлала, должно быть отвергнуто какъ ложное и противорѣчащее ученію Христа.

Ибо несомнѣнно, что въ іерархіи авторитетности, для тѣхъ, кто послѣднюю признаетъ, Евангелія должны стоять на первомъ мѣстѣ.

И нельзя изъ нихъ вычеркнуть всего того, что свидѣтельствуетъ о любви Христа къ жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ.

Онъ не только ѣлъ и пилъ, какъ всѣ, не только, преломляя хлѣбъ, насыщалъ толпу такъ, что оставался избытокъ въ хлѣбахъ, но и благословилъ роскошь расточительности, когда грѣшница обливала Его ноги драгоцѣннымъ мvромъ и отирала ихъ своими волосами, и даже поставилъ эту расточительность выше обычной помощи нищимъ, и тутъ отдавъ предпочтеніе не тому, что дѣлается, а тому, какъ дѣлается—но и на бракѣ присутствовалъ въ Канѣ Галилейской и воду претворилъ въ лучшее вино, когда вина не хватило, такъ что удивлялись люди, ибо привыкли, чтобы хорошее вино подавалось лишь въ началѣ, а потомъ изъ бережливости угощали худшимъ.

Христосъ вообще посѣщалъ пиры и посѣщалъ не какъ аскетъ, примѣромъ воздержанія пытающійся воздѣйствовать на другихъ и пользующійся случаемъ, чтобы убѣждать собесѣдниковъ въ своей истинѣ.

Во всѣхъ четырехъ Евангеліяхъ ни разу не говорится ни о чемъ подобномъ.

Напротивъ того. Молва рисовала Его въ образѣ человѣка, который „любитъ ѣсть и пить и другъ мытарямъ и грѣшникамъ".

На бракѣ Христосъ присутствовалъ и, когда Его спросили о разводѣ, то Онъ, повидимому, не одобрилъ его и говорилъ о неразрывности брака и о божественномъ назначеніи пола.

Слова, которыя слѣдуютъ за этимъ, неясны. Неясность ихъ была или намѣренная, или неизбѣжная, но во всякомъ случаѣ Онъ сознавалъ ее, такъ какъ добавилъ: „Могущій вмѣстить, да вмѣститъ".

Впрочемъ, что вмѣстить? Смыслъ предшествующихъ словъ или самую суть, о которой въ нихъ говорится? И это неясно.

Несомнѣнно лишь то, что христіанство толковало ихъ какъ осужденіе плоти и брака, какъ восхваленіе аскетизма, какъ признаніе его подвигомъ не для всѣхъ доступнымъ и поэтому предназначеннымъ лишь для немногихъ избранныхъ, способныхъ его „вмѣстить".

Если это толкованіе вѣрно, въ чемъ по крайней мѣрѣ позволительно сомнѣваться, то во всякомъ случаѣ ложны выводы, сдѣланные изъ него.

Ибо о грѣховности плоти и здѣсь нѣтъ рѣчи и даже допуская, что Христосъ выразилъ предпочтеніе воздержанію передъ невоздержаніемъ, это предпочтеніе никакъ нельзя поставить въ укоръ самой плоти, не рискуя впасть въ противорѣчіе со всѣмъ ученіемъ Христа, а необходимо объяснить, въ строгомъ соотвѣтствіи съ нимъ, только большей трудностью воздержанія и поэтому большей этической цѣнностью его для людей, которымъ оно до того было чуждо.

Самъ Христосъ, учившій не столько словами, сколько примѣромъ, Самимъ Собой, Своею личностью, не зналъ воздержанія, а тѣмъ менѣе самоистязанія. Ибо чуждый заблужденію людей, видѣвшихъ въ самоутвержденіи единственный путь жизни, Онъ не былъ принужденъ оправдывать для Себя и второй путь—самоотреченіе.

Я уже указывалъ на то, что Христосъ возстановлялъ равновѣсіе, освящалъ второй изъ двухъ путей, презираемый и непознанный въ его истинномъ значеніи, и наряду съ самоутвержденіемъ благословилъ самоотреченіе, преодолѣніе себя.

Второе, очевидно, было не только труднѣе въ виду новизны и непривычности, не и непонятнѣе по тѣмъ же причинамъ и равновѣсіе можно было возстановить не сразу, а понемногу, нарушивъ его сначала въ противоположную сторону.

Историческія эволюціи всегда совершаются такимъ образомъ и Великій Провидецъ не могъ не знать этого и показалъ, что знаетъ.

Онъ показалъ также, что не обольщался относительно быстраго осуществленія того, о чемъ училъ, и съ осторожностью и мягкостью, которыми отмѣчены почти всѣ Его слова,—ибо Онъ не хотѣлъ разрушать, но преобразовать старое въ новое,—Онъ только намѣтилъ очертанія новой правды, какъ бы страшась смутить и испугать неприготовленныхъ къ ней.

Онъ какъ будто предвидѣлъ опасность и боялся, что не удастся ему озарить темноту полнымъ свѣтомъ полной правды, что люди только замѣнятъ прежній полусвѣтъ новымъ полусвѣтомъ, который, подобно старому, не разсѣетъ а подчеркнетъ страшные и лживые призраки во всякой мглѣ всегда угрожающіе разстроенному воображенію.

Несмотря на всю Его осторожность, именно это и произошло.

Не такъ ужъ мало нашлось людей, которые думали, что могутъ вмѣстить самый подвигъ.

Безчислены тѣ, которые убѣждены, что вмѣстили значеніе словъ, хотя и не въ силахъ совершить великаго подвига отреченія.

Но не споря о словахъ и возможныхъ толкованіяхъ, развѣ не позволительно усомниться въ томъ, что хоть одинъ изъ нихъ дѣйствительно вмѣстилъ, когда мы видимъ къ чему всѣхъ безъ исключенія привело и приводитъ это вмѣщеніе?

Не позволительно ли вѣрить, что ужаснулся бы Христосъ, если бы увидѣлъ души, изсушенныя аскетизмомъ, какъ тѣла; что сокрушился бы объ убогости ихъ Тотъ, Кто съ такой любовью говорилъ о красотѣ и богатствѣ лилій полевыхъ?

Что съ изумленіемъ внималъ бы Онъ тѣмъ, кто ради Него, во имя Его, отрицали жизнь, осуждали міръ, съ ненавистью отворачивались отъ нихъ, чтобы спастись отъ грѣха, и боролись со зломъ, изнемогая въ этой борьбѣ?

Съ изумленіемъ и глубокой скорбью внималъ бы имъ Тотъ, Кто не зналъ осужденія и отрицанія, любилъ міръ, и жизнь, и людей, и каждую травку, и каждый цвѣтокъ, такъ какъ все отъ Бога, и во всемъ отражается Онъ, и не міръ—зло, а только ложное отношеніе къ міру. Не видѣть въ мірѣ Бога—вотъ гдѣ зло.

Христосъ возстановлялъ утерянную людьми связь съ Богомъ. Связью этой прежде былъ страхъ; отнынѣ должна была стать любовь. Но любовь, какъ и вѣра, не отрицаетъ, а утверждаетъ. Поскольку любишь—утверждаешь; за предѣлами любви можетъ быть безразличіе, но не ненависть. Ненависть—обратная любовь, отрицаніе. Но она не за предѣлами любви, а въ ея же предѣлахъ, на ея же мѣстѣ. Гдѣ любовь—тамъ, именно тамъ и только тамъ,—и можетъ быть ненависть. Или одна, или другая.

Поэтому Христосъ былъ чуждъ ненависти, не зналъ отрицанія. „Я кротокъ и смиренъ сердцемъ“ сказалъ Онъ Самъ о Себѣ. „Я и Отецъ Мой Небесный—одно“. Это уже о всѣхъ людяхъ, о каждомъ человѣкѣ.

Утверждая Бога, сливаешься съ Нимъ. И утверждая Бога, нельзя отрицать міръ. Можно не видѣть міра, не замѣчать его, не знать вовсе, даже уходить отъ него. Но отрицать, отвергать, сознательно осуждать, презирать, проклинать—невозможно.

По крайней мѣрѣ невозможно въ атмосферѣ евангельской, подъ сѣнью благости Христовой.

Для всякой борьбы нужна нѣкоторая жесткость, чтобы не сказать жестокость, и неизбѣжна она, когда врагъ

кажется непримиримымъ и презрѣннымъ, когда отъ побѣды или пораженія зависитъ не спасеніе жизни, блага относительнаго, а спасеніе вѣчности, блага абсолютнаго, ни съ чѣмъ несравнимаго и ничѣмъ незамѣнимаго.

И не только нельзя не быть жестокимъ, даже безпощаднымъ, но невозможно избѣжать злобы и ненависти, когда побѣда трудно дается или не дается вовсе и только отчаяніе еще поддерживаетъ силы.

Но при всей обширности сердца человѣческаго, вмѣщающаго самыя сильныя и глубокія чувства, оно все же имѣетъ предѣлы, и когда въ немъ разгораются такая злоба и такая ненависть, и такое отчаяніе, смѣшно думать, что въ немъ еще хватаетъ мѣста для любви, даже если бы любовь была возможна одновременно съ ненавистью и злобою.

И культъ Сатаны, который въ разныя эпохи замѣнялъ и вытѣснялъ культъ Бога, являлся только логическимъ и неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этой борьбы со Зломъ во имя Добра, такъ какъ незамѣтно центръ тяжести переносился съ того, во имя чего велась борьба, на то, противъ чего она велась, и этическое отрицаніе Сатаны уступало мѣсто фактическому его признанію, а этическое утвержденіе Бога становилось отвлеченнымъ, далекимъ, нереальнымъ.

И въ послѣднемъ окончательномъ противорѣчіи раскрывалось первоначальное заблужденіе.

Отвергался міръ, какъ зло, и не только не могъ быть отвергнутъ, не только ощущался болѣе реально, чѣмъ то, во имя чего отвергался, но даже становился единственной реальностью.

И, такимъ образомъ, не побѣждалось зло, а утверждалось, возвеличивалось, обожествлялось.

И неужели найдется человѣкъ, настолько слѣпой или упрямый, чтобы наперекоръ очевидности настаивать на правильности прежняго и общаго толкованія загадочныхъ словъ Христа?

Старое предубѣжденіе противъ плоти вы раздѣляли съ сестрой, какъ почти всѣ люди.

И если это предубѣжденіе имѣетъ хоть видимость правоты въ тѣхъ, кто слѣпо вѣритъ ученію церкви и преклоняется передъ авторитетомъ священныхъ книгъ, то по истинѣ нѣтъ ему оправданія въ невѣрующихъ.

Какимъ-то безголовымъ и безногимъ чудовищемъ становится оно, и притомъ не дѣйствительно существующимъ а только воображаемымъ. Когда дикари поклоняются идолу, который они создали собственными руками изъ дерева, камня или металла, они поступаютъ все же разумнѣе и послѣдовательнѣе тѣхъ, кто потерялъ вѣру въ истукана, позналъ заблужденіе, опрокинулъ камень или сжегъ дерево и продолжаетъ гнуть шею и склонять голову передъ угрозами и требованіями, которыя вѣрующій дикарь приписывалъ своему божеству.

Мало кто вѣритъ теперь церкви и ея ученію о Богѣ. Но ученію церкви о мірѣ вѣрятъ всѣ, хотя и не всегда это сознаютъ, или по крайней мѣрѣ не всегда признаются въ этомъ.

Вотъ и вы не признаетесь и даже пожалуй не сознаете.

А между тѣмъ, если достаточно таки безсмысленно отвергать міръ во имя Бога, то ужъ конечно предѣлъ всякой безсмыслицы — отвергать его, не вѣря въ Бога.

Атеизмъ — не активный, который въ сущности не отрицаетъ Бога, а борется съ Нимъ, т.-е. возстаетъ противъ

обычнаго о Немъ представленія во имя иного, — атеизмъ пассивный простое недомысліе, не замѣчающее собственнаго противорѣчія и потому жалкое и смѣшное.

Если можетъ человѣкъ обходиться безъ Бога, пусть обходится безъ Него. Это его дѣло.

Но развѣ обходится безъ Бога тотъ, кто не можетъ обойтись безъ діавола? А признавать грѣхъ, зло—развѣ не значитъ признавать діавола? И не обманываетъ ли самъ себя человѣкъ, тѣшась безсмысленной игрой, когда на словахъ отрицаетъ Бога, а на дѣлѣ признаетъ чорта?

Не осиливъ трагической антиноміи добра и зла, онъ думаетъ, что нашелъ выходъ и спасеніе, и не видитъ того, что окончательно и безповоротно лишилъ себя всякой возможности спастись, захлопнувъ передъ собою двери добра и широко распахнувъ ворота злой грѣховности.

Для вѣрующаго не можетъ быть ничего внѣ реальностей жизненныхъ и внѣ человѣческихъ отношеній.

Но если онъ послѣдователенъ и не пытается самъ себя обольстить, то не можетъ онъ не увидѣть, что для него реальности жизненныя превращаются въ иллюзіи, въ миражъ, въ форму безъ содержанія, въ маску, подъ которой нѣтъ лица. Все, чѣмъ живутъ, разграничиваются, защищаются, свѣтятъ себѣ люди — таетъ въ его рукахъ.

Красота, лишенная содержанія, т.-е. связи съ Божествомъ, теряетъ почву подъ ногами и не можетъ быть утверждаема и противополагаема уродству. Ибо что въ ней утверждать и на какомъ основаніи отрицать уродство?

Добродѣтель, да и вся мораль, становятся чисто практическими свойствами и правилами жизни, установленными исключительно въ цѣляхъ общественныхъ, въ видахъ общей выгоды, для отграниченія человѣка отъ людей и людей отъ человѣка. И единственной ихъ санкціей дѣлается внѣшнее принужденіе. Если его можно избѣжать, то и отъ нихъ можно освободиться, какъ отъ тяжелой шубы весной, такъ

какъ сами по себѣ они не только не цѣнны, но и просто лишены всякаго значенія.

Пока невѣрующій живетъ въ обществѣ людей, условія общественной жизни, ограничивая его, поддерживаютъ и какъ бы подпираютъ. Но внѣ общества предоставленный самъ себѣ, онъ вокругъ себя и въ себѣ находитъ лишь пустоту, которую принужденъ заполнять произвольнымъ содержаніемъ, и поэтому бросаетъ въ нее слова, точно камни въ море. Но слова и камни тонутъ безслѣдно не заполняя бездны.

Иллюзію духовной любви опять таки разрушили вы.

И снова были не правы, такъ какъ ничѣмъ не замѣнили ее; не по существу уничтожили, и не ради новой, а только жизненно одолѣли, побѣдивъ вмѣсто того, чтобы опровергнуть.

Вы возбудили ревность сестры.

Вы притворились, что готовы удовлетвориться духовной любовью къ ней, но утверждали невозможность для себя удовлетвориться ею вообще и открыто признали свое намѣреніе искать физической любви у другихъ.

Не раскрывая несознанной вами лжи, не отрицая возможности отдѣлить любовь духовную отъ физической, не освящая послѣднюю, осуждая ее какъ всѣ, вы, какъ всѣ, считали ее все же непоборимой и не противъ грѣховности ея возставали, а лишь противъ отказа отъ нея.

Но иллюзіи человѣческія до того поверхностны и неорганичны, что обыкновенно не выносятъ даже облика реальности и рушатся отъ одного лишь звука ея голоса, какъ стѣны сказочныхъ замковъ отъ звука рога богатырскаго.

Иллюзіи—не щитъ отъ меча дѣйствительности, а легкая повязка, закрывающая глаза. Но люди думаютъ, что онѣ—щитъ, и не видятъ опасности и бросаются ей навстрѣчу, беззащитные и безсильные въ своей невѣдомой имъ самимъ слѣпотѣ.

Дѣйствительность убила новую иллюзію сестры мечемъ ревности.

Ревность — чувство производное, продуктъ неорганическаго соединенія, въ которомъ не трудно отдѣлить другъ отъ друга составные элементы.

Всѣ они низкаго качества и отрицательнаго свойства.

Но обольщаетъ людей внѣшняя близость ревности съ любовью, такъ что тайна любви какъ будто охватываетъ и ревность, и озаряетъ ее невѣрнымъ и обаятельнымъ мерцаніемъ своимъ.

Но связь ревности съ любовью только случайная, легко расторжимая и не вліяющая на существо ни той ни другой.

Вѣдь ревность возможна и встрѣчается и безъ любви; остается, когда любовь прошла; сопутствуетъ дружбѣ, такъ же часто, какъ и любви.

Но надъ чувствами нельзя производить опытовъ, ихъ можно только наблюдать, т.-е. приходится не создавать случай, а терпѣливо ожидать его.

Такой случай представился мнѣ на той деревянной дачѣ, гдѣ я съ вами впервые встрѣтился и познакомился.

Вы тамъ были по дѣлу. Я посѣщалъ ее изъ любопытства. И сдѣлался свидѣтелемъ оригинальнаго происшествія, въ которомъ съ удивительной простотой и ясностью выразилась правда ревности или правда о ревности.

Вы навѣрное помните эту дачу.

Она была деревянная, въ два этажа, съ терассою; всегда была полна народу и только утромъ отъ пяти часовъ до десяти и между десятью вечера и тремя ночи тишина и спокойствіе царили въ ней.

Почти четырнадцать часовъ въ сутки немолчный гамъ и шумъ стояли надъ ней и разносились по окрестности. Казалось, что жильцы этой странной дачи имѣютъ одну общую имъ всѣмъ особенность: неумѣніе говорить, какъ остальные люди. Всякій разговоръ у нихъ былъ крикомъ, даже когда шла мирная бесѣда. И крикъ этотъ превращался въ угрожающій ревъ, едва только нарушались миръ и единеніе и малѣйшее недовольство или несогласіе сталкивали двѣ воли или два мнѣнія. А это случалось почти каждый разъ, когда сходились и начинали разговаривать двое жильцовъ.

Дѣло рѣдко доходило до драки и обыкновенно ограничивалось перебранкой на такихъ высокихъ нотахъ, которыя могли быть подъ силу только очень опытнымъ и исключительно одареннымъ людямъ, и обмѣномъ такихъ изысканныхъ и неожиданныхъ ругательствъ, къ тому же въ такомъ огромномъ количествѣ, что нельзя было не изумиться богатому запасу словъ у ссорившихся и не исполниться уваженія къ ихъ филологическому творчеству.

Одобрительные возгласы на разныхъ языкахъ и нарѣчіяхъ, нерѣдко на исковерканномъ чужомъ, когда родной языкъ былъ никому другому непонятенъ, врывались рѣзкими ударами въ смѣнявшійся, но не умолкавшій оглушитель-

ный грохотъ и взрывы смѣха или негодованія, когда терпѣніе истощалось, проносились, какъ раскаты грома, надъ общимъ гуломъ и шумомъ.

Особенно шумно бывало въ часы обѣда и завтрака, когда на террассѣ собирались всѣ жильцы въ самыхъ разнообразныхъ и фантастическихъ нарядахъ, полуодѣтые или полураздѣтые, въ непринужденіи и халатности закулисной близости.

Даже когда кто-нибудь изъ нихъ собирался въ городъ за покупками или на свиданіе и поэтому заранѣе умылся, причесался и нарядился, онъ или она, являлись къ столу безъ платья, по крайней мѣрѣ безъ пиджака, лифа или верхней юбки, точно духъ общества или дачи не допускалъ отступленія отъ безалаберности и распущенности въ одеждѣ и рѣчахъ.

И въ представленіи сосѣдей двухъэтажная дача со стеклянною террассою была неразрывно связана съ какофоніей крикливыхъ голосовъ и неряшливымъ безстыдствомъ полуобнаженныхъ женщинъ.

Въ это лѣто дача была сдана: двумъ француженкамъ, изъ которыхъ одна появлялась на сценѣ въ короткой оттопыренной сзади юбкѣ и, покачиваясь на огромныхъ каблукахъ, пѣла какіе-то куплеты, безразличные и ей самой и публикѣ, до коей не долетало ни одного слова, а другая, въ одѣяніи парижскаго „гаврошъ“, скороговоркою произносила невѣроятный наборъ рифмъ и внѣ сцены, какъ будто продолжая свою роль, ухаживала за женщинами; итальянкѣ-акробаткѣ, превосходно сложенной, но пропахшей всякими южными кушаніями, въ которыхъ лукъ, чеснокъ и другія зловонныя вещества были главною приправою; двумъ сестрамъ-австріячкамъ, очень красивымъ и похожимъ другъ на друга, хотя одна была изо всѣхъ силъ черна, а другая

безсильно свѣтла и обѣ вмѣстѣ говорили на самой невѣроятной смѣси вѣнскаго жаргона и какого-то сѣверно-итальянскаго нарѣчія, приправленной французскими и испанскими словами, что придавало ей пряный ароматъ блюдъ, приготовлявшихся на общей кухнѣ итальянкой; и наконецъ совсѣмъ молоденькой испанкѣ, о происхожденіи которой доподлинно извѣстно было только то, что она родилась не въ Испаніи.

Она плясала испанскія танцы съ настоящимъ испанцемъ, очень порядочнымъ танцоромъ и рѣдкимъ красавцемъ не только для Испаніи, гдѣ мужчины вообще не красивы, но и для всякой страны гордящейся по праву красотою своихъ юношей.

Каковы бы ни были отношенія между испанкой и ея танцоромъ и несмотря на увѣренія всѣхъ, что они любовники, они сами отрицали всякую близость, быть можетъ для того, чтобы не смущать многочисленныхъ и постоянно смѣнявшихся поклонниковъ испанки, жили въ разныхъ комнатахъ, хотя и въ одной дачѣ, и никогда никому не удалось обнаружить малѣйшее доказательство предполагаемой связи.

Правда, не разъ загорались глаза испанки и рѣзкія слова готовы были сорваться съ ея устъ, когда какая-нибудь женщина слишкомъ явно ластилась къ ея танцору, но она всегда овладѣвала собою во́время.

Онъ же никогда не терялъ своего спокойнаго равнодушія, съ полнымъ безразличіемъ относился къ похожденіямъ своей спутницы и въ сущности и къ другимъ женщинамъ оставался довольно холоднымъ и безучастнымъ.

Не подлежало сомнѣнію, что отношенія этой пары людей — и театральныя и жизненныя — были дѣловыми, основывались на добровольномъ соглашеніи и на обоюдной выгодѣ.

Договоръ, связывавшій ихъ, очевидно, соотвѣтствовалъ ихъ желаніямъ, и короткія возмущенія испанки являлись только слѣдствіемъ обычной женской непослѣдовательности, которая объясняется гипертрофіей субъективности и связанной съ ней атрофіей объективности, благодаря чему въ женщинахъ является преувеличенное представленніе о собственныхъ правахъ и полная неспособность и нежеланіе признавать чужія, изъ чего вытекаетъ общее всѣмъ женщинамъ неуваженіе къ чужой личности и собственности и, слѣдовательно, невозможность уважать собственную личность и личную собственность.

Возмущенія испанки, свидѣтельствовавшія о томъ, что она не чужда была ревности, были однако настолько мгновенны и незначительны въ своихъ проявленіяхъ, что не давали возможности основать на нихъ твердое убѣжденіе и по нимъ заключить о чувствахъ и близости испанки къ испанцу.

Только однажды жильцы дачи были разбужены рѣзкими раскатами сердитыхъ голосовъ и звономъ разбиваемой посуды въ комнатѣ испанца, которымъ въ послѣднее время очень увлекалась французская танцовщица съ сосѣдней дачи. Но такъ до конца и осталось невыясненнымъ, о чемъ они спорили, и была ли ревность испанки вызвана привязанностью или расчетомъ, такъ какъ она очевидно опасалась потерять сотрудника, безъ котораго ей было бы трудно или даже невозможно, обойтись.

Въ сущности никто даже точно не зналъ, съ кѣмъ онъ тогда ссорился и кто былъ въ его комнатѣ: француженка или испанка.

О ночной ссорѣ скоро забыли; француженка уѣхала. И однообразное теченіе жизни было прервано новымъ происшествіемъ.

Въ испанца влюбилась черная вѣнка, между тѣмъ какъ онъ самъ, видимо, увлекся ея сестрой.

На дачѣ нѣкоторое время царило напряженное ожиданіе и возбужденіе. По угламъ шептались и смолкали, когда появлялись испанецъ, или сестры, или испанка. Съ радостнымъ и вмѣстѣ боязливымъ замираніемъ слѣдили за мрачной испанкой, за разстроенными сестрами, за равнодушнымъ и спокойнымъ при всей своей влюбленности испанцемъ.

Потомъ напряженность замѣтно ослабѣла, испанка видимо успокоилась, сестры повеселѣли и остальные жильцы только разочарованно и недоумѣнно переглядывались.

Пока, однажды ночью, итальянка вышедшая въ коридоръ, не увидѣла, какъ дверь испанца пріотворилась и черная вѣнка, проскользнувъ сквозь нее, исчезла въ своей комнатѣ.

Итальянка остановилась въ удивленіи. Но изумленію ея не стало границъ, когда другая сестра появилась на порогѣ общей спальни и быстро добѣжавъ до комнаты танцора скрылась въ ней.

На слѣдующій день всѣмъ на дачѣ стало извѣстно объ удивительномъ происшествіи. Толкамъ и пересудамъ не было конца. Каждый хотѣлъ лично убѣдиться и въ продолженіе нѣсколькихъ ночей за всѣми дверьми таились раздѣтыя фигуры и бѣлыя привидѣнія неслышно скользили по коридору.

Испанецъ и испанка уѣхали. Остальные собрались въ послѣдній разъ на терассѣ для прощальнаго завтрака, такъ какъ они отбыли свое время и собирались въ отъѣздъ въ разныя стороны. За столомъ было, какъ всегда, оживленно, людно и шумно. Анекдоты, остроты и добродушная ругань перекрещивались и заглушались немолчнымъ гуломъ рѣзкихъ голосовъ.

Француженка обратилась къ сестрамъ: „Сегодня вечеромъ вы уѣзжаете. Прошлое—прошло. Объясните намъ, что такое у васъ было съ испанцемъ". И на удивленные взгляды смущенныхъ сестеръ она отвѣтила веселымъ смѣхомъ: „Вы думали, что никто не знаетъ. Всѣ знали. Мы всѣ видѣли, какъ вы—сначала одна, а потомъ другая—приходили къ испанцу. Un secret devant nous? Vous n'y pensiez pas! Secret de cabot—secret de polichinelle"...

Оглядѣвъ присутствовавшихъ и понявъ, что ихъ тайна давно уже перестала быть тайной для всѣхъ, сестры добродушно усмѣхнулись.

„Вы хотите знать, какъ мы пришли къ мирному соглашенію вмѣсто того, чтобы разыграть драму, выцарапать другъ другу глаза, оттаскать за волосы или изувѣчить какъ-нибудь иначе? Извольте.

Когда дѣло дошло до того, что дольше глухая рознь продолжаться не могла, я объяснилась съ сестрой. Она была искренно увлечена испанцемъ; онъ такъ же искренно увлекался мной. И мы разсудили, что глупо было бы намъ расходиться изъ-за такихъ пустяковъ, мгновенныхъ и незначительныхъ. Мы работаемъ вмѣстѣ, совмѣстно зарабатываемъ то, что намъ нужно, по нашимъ потребностямъ и привычкамъ, и на всемъ свѣтѣ ни у одной изъ насъ нѣтъ человѣка болѣе близкаго, чѣмъ сестра. Съ любовниками мы раньше или позже расходимся, такъ какъ мы осуждены на бродячую жизнь и, въ сущности, увлеченія всегда имѣютъ конецъ и много на свѣтѣ мужчинъ и, если они нами пользуются для своей утѣхи, то и мы поступаемъ всего разумнѣе, когда извлекаемъ изъ нихъ только удовлетвореніе нашихъ нуждъ и желаній, не придавая имъ значенія, не даря имъ власти надъ нами".

Шумныя одобренія женщинъ прервали сестеръ.

„Et l'amour? qu'en faites-vous dans tout cela? — вопросительно протянула итальянка.

Горкія или злыя усмѣшки искривили лица большинства присутствовавшихъ. Какая-то мимолетная тѣнь, точно легкимъ покрываломъ, окутала веселую оживленность сестеръ.

— „Я любила отца и мать—медленно проговорила одна изъ нихъ—люблю маленькаго брата. Когда-то мечтала объ иной любви и вѣрила въ нее.

Но время шло, жизнь становилась близкой и знакомой, и я все больше и больше убѣждалась въ томъ, что та, иная, любовь есть только страстное ожиданіе поцѣлуя и жажда объятій. Только этого хотѣли отъ меня; только это влекло меня.

Если бы хоть разъ я почувствовала страстную и нѣжную привязанность безъ желаній... Но никогда... никогда...

Сочувственно вторила ей вторая сестра, молчаливыми кивками головы подчеркивая отрывистыя фразы. На мгновеніе среди тишины, полной напряженнаго ожиданія, невидимо зазвенѣли давно забытыя, заигранныя струны, въ глубокихъ безднахъ человѣческихъ душъ.

Затѣмъ, вдругъ, съ разныхъ концовъ стола зазвучали громкіе голоса и сестры встряхнулись.

— Мы рѣшили избѣжать ссоры и замѣнить трагическую развязку мирнымъ и болѣе цѣлесообразнымъ исходомъ. Сестра желала испанца; испанецъ желалъ меня. И мы предложили ему сдѣлку. Чтобы заслужить меня, онъ долженъ былъ удовлетворить желанія сестры. Каждый разъ, когда онъ желалъ моей близости, онъ долженъ былъ раздѣлить время между мною и сестрой.

— И онъ согласился?

— Согласился.

— И вы остались довольны?

— Вполнѣ.

— И вы, и сестра?

— Обѣ. Въ концѣ концовъ испанецъ достаточно красивъ, чтобы можно было и безъ страстнаго увлеченія не

отказываться отъ него... И затѣмъ мы чередовались: разъ я первая приходила къ нему, разъ—сестра.

Оглушительный грохотъ шумнаго восторга потрясъ террассу. Смѣялись всѣ, и свои, и чужіе, и нѣжно прильнувшія другъ къ другу сестры.

И шумъ такъ долго не унимался, что громадный бразиліанецъ, пожиравшій макароны, поднялъ голову и заоралъ, странно растягивая слова и напирая на всѣ гласныя: „Я предлагаю пять рублей за пять минутъ молчанія". Никто не слушалъ его и онъ повысилъ условія: „Десять рублей за пять минутъ молчанія; пятнадцать рублей за пять минутъ молчанія".

„Quénze roublés por cenq mi-nou-tés de silànz!".

— А ревность?—прошептала итальянка, наклонившись черезъ столъ. Сестры разсмѣялись.

— Ревность—это уязвленное самолюбіе, боязнь быть или казаться смѣшнымъ, или желаніе исключительнаго владѣнія тѣмъ, на что считаешь за собой исключительное право.

О послѣднемъ и рѣчи быть не могло, такъ какъ мы заранѣе удовлетворились частью; смѣшными мы никому не могли показаться, потому что унизительной роли обманутой нельзя было приписать ни мнѣ, ни сестрѣ; а для самолюбія во всемъ этомъ совершенно не оставалось мѣста, такъ что и уязвить его было невозможно.

Я увѣренъ въ томъ, что вы безповоротно и безъ малѣйшаго колебанія осудите сестеръ.

По какому праву?

Такъ же, какъ и вы, онѣ къ тайнѣ любви не сумѣли подойти, а въ чувственности не умѣли даже увидѣть тайны.

Но въ простотѣ своей, онѣ, по крайней мѣрѣ признавали то, что видѣли, и мудрость ихъ—какъ всякая мудрость—была лишь здоровымъ зрѣніемъ.

Большинство людей больны глазами, физическими и духовными. Искусственное освѣщеніе ослабляетъ и извращаетъ зрѣніе. Не только на солнце не можемъ мы смотрѣть не мигая, но даже свѣтъ лампъ принуждены ослаблять и затемнять абажурами.

И физически, и духовно.

Свѣтомъ мы пользуемся, пріурочивая его къ нашему слабому зрѣнію. Но на свѣтъ не глядимъ и свѣта не выносимъ.

Тайну любви можетъ освѣтить только яркое полуденное солнце. И нѣтъ человѣка, который могъ бы выдержать его сіяніе.

Но загадку ревности, земную и не глубокую, съ достаточной ясностью озаряетъ ровный и мягкій свѣтъ дня, и не абсолютное, а только относительное здоровье нужно, чтобы увидѣть и понять.

Это относительно здоровое зрѣніе было у сестеръ. И поэтому, не понимая любви, онѣ поняли, и понявъ, одолѣли ревность. Ибо понять—это значитъ одолѣть сознаніемъ. И остается только одолѣть волей, т. е. совершить.

Но послѣднее лишь результатъ побѣды, видимый знакъ ея, осязаемое доказательство, а не самая побѣда. И какъ истина остается истиной даже когда еще не доказана, т. е. не стала еще истиной для всѣхъ, объективно-очевидной, такъ и побѣда сознанія остается побѣдой помимо очевидности совершенія, до него и безъ него.

Разговорами съ сестрой на эту тему вы только подготовили ее къ ревности, но самой ревности еще не возбудили.

Пока слова не сопутствуютъ фактамъ, не сопровождаютъ событій или не слѣдуютъ за ними, они отвлеченны и нереальны, принимаются пониманіемъ, но не чувствомъ и лишены непосредственнаго воздѣйствія.

Словамъ можно противополагать слова. И легкость и произвольность этого исключаетъ убѣдительность.

Вы устроились такъ, чтобы сестра васъ увидѣла съ другой женщиной. Или это произошло случайно и не было подготовлено вами? Тоже возможно.

Я не думаю, чтобы вы смутились, даже если встрѣча была для васъ неожиданной. Но я совершенно увѣренъ въ томъ, что непріятной она вамъ не была и не казалась.

Конечно, не обошлось безъ объясненій съ сестрой. То, что вы ей отвѣчали, ничѣмъ не отличалось отъ того, что вы ей говорили раньше. Слова были тѣ же. Но слова уже не были отвлеченными, не были „сами по себѣ", точно изображенія невиданныхъ и невѣдомыхъ мѣстъ или лицъ, а передавали черты и обликъ, пытались схватить сущность чего-то знакомаго, извѣстнаго, реальнаго.

Впослѣдствіи вы говорили, что это объясненіе было первой сценой ревности между вами. И хотя сестра всегда это отрицала и сердилась при одномъ упоминаніи о ея ревности и о „сценахъ", считая ихъ мѣщанствомъ и пошлостью,—вы были безусловно правы.

Сестра ревновала. Но вмѣсто того, чтобы успокоить ее и убѣждать, если не убѣдить, въ безсмысленности и нелѣ-

пости безцѣльной и мучительной ревности, вы съ какой-то еще и теперь удивляющей меня грубостью, возбуждали ее и растравляли.

„Цѣлый годъ уже длятся самыя неопредѣленныя отношенія. Какъ вы себѣ представляете мою жизнь? Если бы я былъ вѣрующимъ и чувствовалъ призваніе монашества, я бы ушелъ въ монастырь. Но зналъ бы, по крайней мѣрѣ, для чего, и во имя чего, это дѣлаю. А вы хотите, чтобы я, не уходя отъ жизни, и не вѣря въ Бога, превратился въ монаха".

Бѣда для сестры была въ томъ, что она сама не вѣрила и не уходила отъ жизни, и признавала грѣхъ.

Но признавая его, вѣдь не отвергла разъ на всегда, ибо съ мужемъ-то она жила.

И если по отношенію къ вамъ она никакъ не могла принять опредѣленное рѣшеніе и твердо установить свои желанія и требованія, распутавъ окончательно клубокъ противорѣчій, которымъ съ самаго начала была ваша близость и стала ваша любовь, то объясненья этому нельзя искать въ одной только идеѣ грѣха.

Путанница происходила отъ того, что сестра боялась и грѣха любви, и грѣха измѣны, но перваго больше, чѣмъ второго, а вы грѣха любви не страшились вовсе, но зато грѣхъ измѣны умѣли преодолѣть лишь разсудкомъ, а не волей.

И такимъ образомъ вы ни въ чемъ не были согласны, ни въ чемъ другъ друга не поддерживали, а напротивъ того враждебно сталкивались во всемъ, что составляло внутреннюю коллизію для каждаго изъ васъ.

Сестра не могла признать и принять любовь, не пытаясь оправдать ее и оправдывала тѣмъ, что утверждала ея красоту, благость и значеніе, преувеличивала ихъ и возводила

на такую высоту, гдѣ ничто не было въ состояніи не только перевѣсить ихъ, но даже сравниться съ ними.

Возвеличивая любовь вообще, сестра оправдывала и свою любовь и считала ее прекрасной и важной для себя.

Пока она воображала, что сможетъ отдѣлить чувственность отъ любви, она въ отрицаніи первой находила выходъ изъ сложныхъ противорѣчій, въ разрѣшеніе которыхъ и не углублялась.

Но вы сорвали повязку иллюзіи съ ея очей, и неотвратимостью жизненнаго факта загородили ей дорогу.

Вмѣсто прежняго кажущагося выбора между любовью и чувственностью, сестрѣ былъ предложенъ другой: или принять и ту и другую или отказаться отъ обѣихъ.

Иллюзія абсолютной и наивысшей цѣнности любви спасла сестру отъ необходимости отказа.

Если любовь прекраснѣе и цѣннѣе всего, то помириться ради нея съ чѣмъ-то отрицательнымъ—не только меньшее зло, чѣмъ отказаться отъ нея, но и единственно правильное, нужное и неизбѣжное рѣшеніе. Такъ она разсуждала. Если бы она не чувствовала физическаго влеченія къ вамъ, она можетъ быть разсуждала бы иначе. Но она его чувствовала и только пыталась сначала не замѣтить, а затѣмъ подавить.

Ревность не только подчеркнула его, но и заставила признать его и съ нимъ примириться.

Послѣдней иллюзіи сестры вы, вѣроятно, не нарушили бы, если бы признаніе физической любви не было связано съ допущеніемъ измѣны и не затрагивало вопроса о чести.

По какому-то странному недомыслію или противорѣчію вопросъ объ измѣнѣ все время мелькалъ передъ вами, но оставался далекимъ, неяснымъ, ненавязчивымъ, пока вы разбирались въ любви, копошились въ ней, не могли притти къ окончательному и согласному рѣшенію.

И хотя это послѣднее рѣшеніе было несогласимо съ требованіями чести, которыя вы все время знали, вы о нихъ не хотѣли думать и въ самомъ дѣлѣ какъ-то обходили до того момента, когда всѣ препятствія были устранены, дорога расчищена и ничто не мѣшало полному осуществленію обоюдныхъ желаній.

До сихъ поръ наступленіе вели вы, и побѣда любви была вашей побѣдой.

Но вы не довели ее до конца и начали отступленіе не воспользовавшись ея плодами.

Въ сущности вамъ только казалось, что вы одолѣли всѣ препятствія. Оставалось еще одно, котораго вы почти намѣренно не замѣчали, пока передъ нимъ возвышались другія и могли его заслонить.

Но когда другихъ не стало, и вы внезапно очутились передъ нимъ, вы остановились въ смущеніи и повернули вспять.

Вы испугались грознаго призрака измѣны.

Если исходить изъ того, что вы говорили о любви и какой ее изображали, то вы были, пожалуй, непослѣдовательны. Но все же вами руководила правда и съ точки зрѣнія этой непознанной вами правды вы поступили правильно и вполнѣ логично.

Измѣну вы считали обманомъ, и лгать вамъ не только было непріятно, но и казалось унизительнымъ. Лгутъ всегда изъ опасенія или страха.

Когда боятся за другого, ложь менѣе унизительна, потому что она безкорыстнѣе.

Когда человѣкъ лжетъ ради собственной выгоды — онъ доказываетъ этимъ не только свою слабость и сознаніе этой слабости, но и свою трусость, т.-е. то, что онъ дорожитъ въ себѣ чѣмъ-то презрѣннымъ, дорожитъ собой, презирая себя.

Если вѣрно, что „l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu“, то еще вѣрнѣе, что ложь вообще есть преклоненіе слабости передъ силой, а, слѣдовательно, отрицаніе слабостью себя самой и утвержденіе ею силы.

Въ этомъ вы безусловно правы.

Но разъ вы вмѣстѣ съ сестрой признали, что любовь цѣннѣе и важнѣе всего, то вы могли или даже должны были принести ей и эту жертву, согласиться ради нея и на обманъ и на униженіе.

На униженіе въ сущности вы уже согласились, уступивъ физическому влеченію, которое считали грѣховнымъ.

Значитъ, оставался обманъ.

Но рядомъ съ призракомъ измѣны стоялъ другой: призракъ чести. О ней вы не разсуждали, а слѣпо покорялись ея велѣніямъ. И въ сущности она-то и дала перевѣсъ врагу и вырвала побѣду изъ вашихъ рукъ.

Дѣло въ томъ, что честь сама по себѣ не имѣетъ никакого ни значенія, ни содержанія для человѣка.

Для человѣка, внѣ его отношеній къ людямъ, она не существуетъ и не можетъ существовать.

Ея нормы касаются лишь отношеній между людьми и получаютъ свое содержаніе отъ этихъ внѣшнихъ, житейскихъ условій.

Поэтому вмѣстѣ съ ними мѣняется самое понятіе о чести, неустойчивое и относительное, какъ они.

Честь въ сущности лишь размѣнная монета добродѣтели, по выраженію Берне, такъ какъ она находится въ строгой зависимостн отъ нея и является слѣдствіемъ человѣческой морали. Абсолютная мораль немыслима внѣ умопостигаемой сущности человѣческой личности, внѣ религіознаго чувства, внѣ Бога.

Обязанности существуютъ только по отношенію къ самому себѣ и выступаютъ въ формѣ двухъ императивовъ: логической и этической законности.

Абсолютный характеръ обѣихъ обусловленъ абсолютной сущностью человѣческаго „я“, неподвластнаго причинности и свободно выбирающаго между равноцѣнными или разноцѣнными сущностями и благами. И только въ самомъ себѣ можетъ постигнуть человѣкъ абсолютный нравственный законъ. Лишь такая мораль имѣетъ положительное содержаніе и значеніе.

Внѣшняя, бытовая мораль условна и исчерпывается разграниченіемъ людскихъ интересовъ.

Общество и государство основаны на собственности, и поэтому мораль запрещаетъ воровство и честь является однимъ изъ ходячихъ знаковъ, одной изъ монетъ капитала честности.

Овладѣть чужой женой — значитъ ее украсть. Владѣть ею одновременно съ мужемъ — значитъ не только украсть, но и скрывать свою кражу, не вполнѣ лишать мужа того, чѣмъ онъ владѣетъ, и воровать у него и часть его достоянія и его уваженіе или привязанность, и во всякомъ случаѣ месть, ведущую къ карѣ.

И вотъ, именно вслѣдствіе того, что абсолютной морали вы не знали и довольствовались только относительной, житейской, вы могли унизить себя до грѣха тамъ, гдѣ вы только внутренно, сами для себя, унижались.

Но преступить мораль, унизить себя во внѣ, въ своихъ отношеніяхъ къ другимъ людямъ, передъ ними, вы были уже не въ силахъ.

По существу измѣна ничего общаго съ любовью не имѣетъ. И коллизія, результатомъ которой явилось ваше отступленіе, была только внѣшней коллизіей между вашей любовью и вашей честностью, между субъективнымъ влеченіемъ и объективной нормой.

Разъ вы субъективное влеченіе считали болѣе цѣннымъ,

чѣмъ все остальное, вы должны были ради него преодолѣть объективную норму. Однако, поступивъ наоборотъ, вы все же были правы; но были правы помимо себя и наперекоръ себѣ.

Ибо примириться ради любви съ измѣной значило не утверждать любовь и подчинять ей все остальное, а удовольствоваться компромиссомъ. Обманъ, на который вы согласились бы, доказалъ бы, что къ любви у васъ примѣшивался расчетъ, такъ какъ онъ являлся бы результатомъ сдѣлки, и поэтому нарушилъ бы полноту, цѣльность и абсолютную цѣнность любви.

Если любовь цѣннѣе всего, то все слѣдуетъ ей подчинить.

И вамъ нужно было не обманывать мужа, а объясниться съ нимъ, съ его согласія или насильно, но открыто, увезти отъ него сестру, не довольствуясь частью, несмотря ни на какія внѣшнія неудобства, затрудненія, непріятности или лишенія.

Но это вы оба, безмолвно и безусловно, отклонили съ самаго начала и такъ сжились съ мыслью о невозможности такого рѣшенія, что она даже не предстала передъ вами впослѣдствіи.

Поэтому вамъ приходилось выбрать одно изъ двухъ: или согласиться на обманъ ради любви, или отказаться отъ ея осуществленія изъ страха и нежеланія измѣны.

Остановившись на второмъ, вы были правы не потому, что остались вѣрны чести, а потому, что въ предѣлахъ данной коллизіи не измѣнили цѣльности и полнотѣ любви.

Но въ то же время вы сами противорѣчили себѣ, такъ какъ во имя чести отказывались отъ любви, слѣдовательно ставили честь выше любви; а съ другой стороны, все же измѣнили любви тѣмъ, что даже не подумали о возможности осуществить ее безъ обмана и измѣны.

Я въ сущности не знаю, какъ вы относились къ любви. Мнѣ кажется, что вы даже не старались обольстить себя подобно сестрѣ и хотя на словахъ восхваляли ее, но восхваляли больше устами, чѣмъ сердцемъ.

Любовь, конечно, и вамъ казалась прекрасной и цѣнной, но абсолютное превосходство ея вы утверждали, не вѣря въ него. И поэтому побѣдили ее честью.

Все это не лишено ни послѣдовательности, ни соотвѣтствія съ извѣстной жизненной правдой. И тѣмъ не менѣе мерещится мнѣ нѣчто неприглядное подъ узорной тканью разсужденій, объясненій и оправданій.

Вы этого не ощущали.

А сестра убѣдила себя — основательно или нѣтъ — все равно, — что мужъ не вынесъ бы окончательной разлуки съ нею и что покинуть его значило бы его убить.

Этимъ она оправдывала свою измѣну передъ любовью и могла бы оправдать измѣну передъ мужемъ, если бы не сумѣла побѣдить чувственнаго влеченія.

Отъ признанія послѣдняго до отказа отъ него вы дошли не сразу и долго колебались между „да“ и „нѣтъ“.

Колебались вы несогласно: то сестра была готова уступить, и вы уклонялись; то рѣшались вы, и отступала сестра.

Одинъ только разъ послѣ долгихъ и мучительныхъ исканій и взвѣшиваній, въ обоихъ одновременно непосредственное чувство взяло верхъ надъ утомившейся волей и въ одномъ изъ тѣхъ порывовъ, которые не затемняютъ сознанія, а заставляютъ его примириться съ насиліемъ, какъ человѣкъ, до смерти усталый, видитъ, засыпая, опасность и

примиряется съ нею, — вы рѣшили исполнить то, на что не могли рѣшиться.

Если бы внѣшнія препятствія не удержали васъ, вы бы тогда не удержались.

И хотя отъ рѣшенія до совершенія еще далеко, развѣ не должны вы осудить себя сами предъ индивидуальнымъ судомъ своей совѣсти, вѣдующимъ намѣренія и чувства, т-е. поступки души, какъ общественный судъ вѣдаетъ поступки физическіе?

Чѣмъ сильнѣе порывъ, тѣмъ скорѣе онъ проходитъ. Законъ справедливаго распредѣленія требуетъ, чтобы напряженіе было обратно пропорціонально длительности.

Къ тому же цѣльность его нарушается по мѣрѣ того, какъ привходятъ новыя впечатлѣнія, отвлекаютъ вниманіе и устремляютъ хотѣніе въ другія стороны.

Простыя жизненныя дѣйствія, незначительныя, но требующія незамѣтныхъ и въ то же время дѣйствительныхъ усилій воли, разбили чары чувственнаго влеченія и побѣдили его съ той легкостью, простотой и неизбѣжностью, которыхъ не знаетъ самое упорное и сильное напряженіе сознательнаго волевого устремленія.

Уже пока вы одѣвались, выходили на улицу, садились въ экипажъ и указывали кучеру, куда ѣхать, сквозь легкое опьяненіе страсти начали проглядывать трезвыя мысли.

И хмель уступилъ мѣсто полному самообладанію, когда вы подъѣхали къ дому, въ которомъ жили, и ввели сестру въ свою квартиру.

За все время ни вы, ни она не проронили ни одного слова и въ тѣсной коляскѣ жались по угламъ, какъ бы опасаясь невольныхъ прикосновеній.

Молча прошли вы черезъ переднюю въ гостиную и, не раздѣваясь, сѣли: вы — въ кресло, сестра — на стулъ въ противоположномъ концѣ комнаты.

Сестра мнѣ признавалась, что чувство неловкости, которое она испытывала, было вызвано сознаніемъ опредѣленной цѣли ея посѣщенія, намѣренности и нарочности подготовительныхъ дѣйствій, которыя, какъ живые посредники, какъ услужливые сообщники, проникали за завѣтную ограду, кощунственно приближались къ тайнѣ и, съ безстыдствомъ ко всѣму привыкшихъ рабовъ, пытались сорвать съ нея драгоцѣнный покровъ и развлечься знакомымъ зрѣлищемъ.

То же самое, вѣроятно, испытывали и вы, такъ какъ съ необычнымъ для васъ смущеніемъ, придававшимъ вашему лицу виноватое выраженіе и смѣнявшимся по временамъ какимъ-то злобнымъ гнѣвомъ, вы углубились въ кресло, поджали ноги, засунули руки въ карманы шубы и не отрываясь смотрѣли въ огонь, горѣвшій въ каминѣ.

И вы и сестра точно стыдились другъ друга, мебели и стѣнъ, предметовъ и собственныхъ мыслей, и не знали, что предпринять, ни какъ выйти изъ неловкаго положенія.

Когда раннія сумерки сгустились и часы на каминѣ звонко пробили половину — какого часа? — сестра неувѣренно сказала: „Мнѣ пора домой“, и вы встали.

Вслѣдъ за вами поднялась и сестра и съ той же неувѣренностью, не подавая вамъ руки, вышла въ переднюю. Тяжело ступая, послѣдовали вы за ней и раскрыли дверь на лѣстницу.

„Прощайте“. — „Прощайте“.

Вы стояли на площадкѣ, не рѣшаясь вернуться къ себѣ. Сестра медленно и нерѣшительно спускалась со ступени на ступень. На поворотѣ она остановилась, взглянула наверхъ, какъ бы соображая что-то, и вдругъ, быстро, вполголоса, точно про себя, проговорила: „Этого я вамъ никогда не прощу“.

И убѣжала, не оглядываясь.

Что она хотѣла этимъ сказать — я не знаю. Вы ее объ этомъ не спрашивали. А она, хотя и помнила свои слова, не умѣла ихъ объяснить.

Они вырвались у нея невольно и вѣроятно были выраженіемъ тайной обиды, такъ какъ женщины оскорбляются разсудкомъ, когда вызываютъ чувственное влеченіе въ мужчинѣ, но оскорбляются сердцемъ, когда не возбуждаютъ его или возбуждаютъ недостаточно сильно.

И хотя сестра не могла не понять и не одобрить вашихъ чувствъ, ее вѣроятно все же оскорбило ваше воздержаніе, которое свидѣтельствовало объ ограниченной силѣ вашего желанія.

Можетъ быть она не простила бы вамъ и насилія и презирала бы васъ за неумѣніе побороть себя, если бы вы уступили стихійному влеченію. И была бы права и въ этомъ случаѣ, какъ была права въ настоящемъ.

Не жизненно права—жизненно правы обыкновенно мужчины, — а по существу права, такъ какъ бóльшая утонченность, а поэтому и противорѣчивость женскихъ чувствъ заставляетъ женщинъ въ каждомъ событіи и переживаніи воспринимать одновременно двѣ возможности и не забывать непроявившуюся ради проявленной и осуществленной.

Нарушеніе справедливости, неизбѣжное практически, принимается мужскимъ разумомъ въ силу этой неизбѣжности, но не принимается непосредственнымъ и утонченнымъ женскимъ чувствомъ.

Поэтому онѣ не пригодны для активной дѣятельности, гдѣ нужна иниціатива и цѣльность рѣшимости и неспособны для творчества, такъ какъ не умѣютъ отъ анализа переходить къ синтезу.

Это незначительное по обстановкѣ своей, но весьма значительное по внутреннему значенію происшествіе оконча-

тельно установило ваши отношенія, закрѣпивъ ихъ разъ навсегда въ ихъ неразрѣшимой неопредѣленности.

Между вами уже не было борьбы; и колебанія, которыя вы оба испытывали, получили извѣстную равномѣрность, не выходили за предѣлы ннутреннихъ переживаній, не нарушали, замѣтнымъ образомъ, внѣшняго равновѣсія вашей близости.

Вы прошли по обоимъ путямъ любви; и хотя не прошли ихъ до послѣдняго конца, все же приняли и признали и тотъ и другой: и любовь, и желаніе.

Вы не связали признанія съ совершеніемъ; на это не хватило въ васъ силы и цѣльности,—не только въ сестрѣ, но и въ васъ. Или, можетъ быть, вы были именно слишкомъ цѣльны, чтобы совершить, такъ какъ требованія морали невольно ставили выше любовныхъ влеченій.

Но, по крайней мѣрѣ, не оставалось ничего недосказаннаго между вами, никакихъ самообмановъ, затемняющихъ правду, но не защищающихъ отъ нея, никакихъ недоразумѣній, подъ темными масками которыхъ не узнаютъ другъ друга ищущія встрѣчи и согласія мысли и чувства двухъ близкихъ людей.

Всѣ возмущенія, всѣ недовольства, вся ложь неизбѣжно сопутствующія проискамъ любви, остались позади васъ.

Сестра не стыдилась чувственнаго влеченія къ вамъ, а вы жили, какъ вы прежде говорили, „монахомъ“.

Хотя и ограниченная предѣлами чести, любовь къ сестрѣ была достаточна велика и сильна въ васъ, чтобы не допустить иного влеченія и даже въ минуты самаго мощнаго разгара чувственности мысль о сближеніи съ другой женщиной не привлекала, а расхолаживала васъ.

Вы часто и свободно видѣлись съ сестрой, такъ какъ мужъ не мѣшалъ вамъ, считая всякое вмѣшательство насиліемъ и всякаго человѣка свободнымъ, и если даже ревновалъ,— что очень возможно,— то постыдился бы проявить свою ревность, унижающую и того, кто ревнуетъ, и тѣхъ, къ кому ревнуютъ, своей деспотичностью враждебной человѣческому достоинству.

Кромѣ того, онъ довѣрялъ вамъ.

Нельзя не довѣрять тому, кого уважаешь Нельзя не уважать того, съ кѣмъ связываетъ близость. Нельзя— ради себя.

Поэтому ревность, основанная на недовѣріи, не только унизительна, но и являетъ собою противорѣчіе по существу.

Если я съ кѣмъ-нибудь близокъ, то я уважаю его, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, я не могъ бы самъ себя уважать. А уважая кого-нибудь, я долженъ довѣрять ему. Если же я ревную, то значитъ не довѣряю, слѣдовательно не уважаю ни другого, ни себя. И въ такомъ случаѣ нарушаю близость.

Нарушивъ же близость, теряю всякое основаніе для ревности, которая стремится исключительно къ сохраненію этой близости.

Послѣдовательный и вѣрный правдѣ, которую онъ сознавалъ и принялъ, мужъ ни словомъ, ни жестомъ ни разу не выразилъ ни малѣйшаго недовольства.

И тайной осталось для васъ, насколько онъ проникъ въ глубь вашихъ отношеній и въ какомъ видѣ представлялъ себѣ вашу любовь.

Васъ связывала съ нимъ искренняя привязанность, свободѣ которой только препятствовала любовь къ сестрѣ.

Полной искренности между вами не могло быть, потому что всегда сознавалась вами наличность чего-то, о чемъ вы оба молчали. И хотя не разъ хотѣлось вамъ нарушить молчаніе и сломить прозрачную стѣну разъединявшую васъ — вы этого не сдѣлали.

Слова такъ трудно подбирались и такъ мало соотвѣтствовали тому, что надо было не только сказать самому, но и заставить другого воспринять, что вы боялись затемнить прозрачность стѣны вмѣсто того, чтобы ее разрушить.

Ваши отношенія съ сестрой мужъ при васъ называлъ дружбой и дружбой называли вы ихъ при немъ.

Такъ установилось съ самаго начала.

Обманывало ли это слово кого-нибудь впослѣдствіи и кого — трудно сказать. Но я склоненъ отвѣтить отрицательно.

Если мужъ могъ сомнѣваться въ истинномъ характерѣ вашихъ чувствъ къ сестрѣ, то при ея страстности и неумѣніи сдерживаться и притворяться, онъ едва ли заблуждался относительно ея.

Страстность сестры вы называли неистовостью и нерѣдко упрекали за нее.

Проявлялась эта неистовость по всякимъ поводамъ и была въ сущности нетерпѣніемъ и нежеланіемъ думать о послѣдствіяхъ.

Въ относительной уравновѣшенности вашихъ отношеній поводовъ для такихъ вспышекъ было меньше, чѣмъ прежде.

Только отъ времени до времени разгоралось неудовлетворенное желаніе и не столько требовало удовлетворенія, сколько возбуждало недовольство сестры вами за то, что вы сумѣли не уступить своей чувственности.

Просыпалось въ ней чувство обиды вырвавшей у нея однажды злобныя слова: „Этого я вамъ никогда не прощу“. И сестра придиралась къ вамъ, укоряла за то, что вы ее мало и плохо любите—какъ будто за это можно укорять,—жаловалась на ваше дурное отношеніе къ ней, утверждала, что вы не только совершенно равнодушны, но даже готовы желать и причинить ей всякія непріятности и огорченія.

Настроенія эти проходили очень быстро и не вліяли на вашу близость.

Но однажды подобная сцена упрековъ разыгралась въ присутствіи мужа.

Вы обѣдали втроемъ Цѣлый день провели вы съ сестрой на берегу моря, на мягкомъ и тепломъ пескѣ, подъ горячими и ослѣпительными лучами южнаго солнца.

Чуть замѣтный вѣтерокъ обвѣвалъ васъ соленымъ, и несмотря на жару, свѣжимъ морскимъ воздухомъ и мягко убаюкивалъ однообразный, неумолчный и размѣренно-тихій плескъ безостановочно чередовавшихся волнъ.

Песокъ и солнце нѣжило тѣло, журчанье воды ласкало слухъ, и яркій свѣтъ слѣпилъ глаза завороженные двойнымъ просторомъ двойной лазурной безбрежности.

Была полнота красоты въ согласной гармоніи видимаго міра, и, сливаясь и продолжая другъ друга въ безконечную даль, двояко утверждали невидимое но несомнѣнное единство, и небо, склонявшееся къ морю, и море уходившее въ небеса.

Не только вокругъ васъ, но и въ васъ самихъ была та же красота и гармонія, ощущалась та же безбрежность, утверждалась та же двойственность, устремлявшаяся къ единству.

Утверждалась его непреложная правда, неосуществимая, но близкая, неоспоримая, но невозможная.

И эта невозможность постигалась тѣмъ рѣзче, съ тѣмъ большей навязчивостью, съ тѣмъ большимъ отчаяніемъ, чѣмъ громче, настойчивѣе и безнадежнѣе утверждала себя, свои права и свой послѣдній смыслъ, ваша любовь.

Сливались съ міромъ ваши души и сливаясь съ нимъ сближались между собою и, сближаясь, встрѣчали знакомыя препятствія, и озлоблялись и разъединялись.

Умиленіе, восторгъ и благоговѣніе смѣнялись раздраженіемъ и недовольствомъ. И раздраженіе и недовольство принесли вы домой.

Сестра дала имъ волю въ присутствіи мужа, умѣряя свои упреки намѣренной полушутливостью выраженій и улыбкой, не отвѣчавшей ея настроенію.

Съ нарочной улыбкой посматривали и вы, то на нее, то на мужа, притворяясь, что вамъ все равно или даже забавно ее слушать и силясь придумать что-нибудь, чѣмъ бы прервать или перемѣнить разговоръ.

Но намѣренное добродушіе и шутливость вашихъ отвѣтныхъ замѣчаній не останавливали сестры.

И неизвѣстно, какъ бы окончилась эта сцена, если бы не вмѣшался мужъ.

Съ такой же, какъ и ваши, улыбкой онъ обратился къ женѣ.

„Чего ты въ сущности хочешь? Чѣмъ ты недовольна? Каковы бы ни были отношенія между людьми, укорять за недостатокъ чувства безсмысленно, потому что чувства отъ воли человѣческой не зависятъ. А проявляетъ свои чувства каждый сообразно своему характеру и хотя можетъ принуждать себя, но это неразумно, такъ какъ намѣренно проявляя свои чувства, человѣкъ поневолѣ насилуетъ ихъ, а они этого не выносятъ.

Если же ты недовольна установившимися между вами отношеніями, то я хотѣлъ бы знать, какихъ ты желаешь.

Говоря не отвлеченно, а практически, имѣя въ виду

насъ троихъ, я полагаю, что три возможности исчерпываютъ содержаніе и форму вашей близости.

Вы можете быть друзьями, т.-е. ощущать взаимную привязанность и нѣжность, хотя бы даже онѣ доходили до любви, но ограничивая свою близость чувствомъ, а не чувственностью.

Вы можете быть любовниками, но открыто, т.-е. не обманывая меня.

Третья возможность — это обычный адюльтеръ.

Иной я не вижу.

Если кто-нибудь изъ васъ знаетъ четвертую. пусть укажетъ на нее".

Но четвертой вы не знали. И разговоръ на этомъ оборвался.

Взвѣшивая слова мужа вы вѣроятно пытались уяснить себѣ, какимъ образомъ, отвергнувъ дружбу, открытую связь съ сестрой и тайный адюльтеръ, и установивъ какія-то иныя отношенія, вы все же не могли указать на нихъ, какъ на ту четвертую возможность, о которой онъ васъ спрашивалъ.

Если вы нашли объясненіе, то оно могло быть только въ слѣдующемъ: классификація предложенная мужемъ была неправильна, оттого, что онъ долженъ былъ говорить или о двухъ возможностяхъ или о четырехъ.

Тѣмъ главнымъ признакомъ, по которому онъ опредѣлялъ ваши отношенія, была физическая близость. И возможно было только одно изъ двухъ: или вы любовники, или нѣтъ.

Это было самымъ важнымъ.

Но въ томъ и другомъ случаѣ возможно было двоякое положеніе: не будучи любовниками, вы могли испытывать дружбу или любовь. Будучи любовниками, вы могли не скрывать или скрывать свою связь.

Эти четыре подраздѣленія дѣйствительно исчерпывали всѣ возможныя формы близости между вами, но не были имъ достаточно ясно указаны.

Дружбу и любовь безъ обладанія онъ сблизилъ, чуть ли не слилъ въ одно, потому что лично для него далеко не такъ интересно и важно было знать, дружите вы или любите другъ друга,—и то и другое онъ принималъ безъ возраженій, — какъ то: любовники ли вы.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ ни одно изъ двухъ возможныхъ положеній не уменьшало важности основного, неизмѣннаго факта, не дѣлало его безразличнымъ и пріемлемымъ.

Поэтому изъ двухъ второстепенныхъ подраздѣленій онъ невольно сдѣлалъ два главныхъ раздѣленія и спуталъ и себя и васъ.

Но эта теоретическая путанница была менѣе значительна, чѣмъ та, физическая и практическая, которой вы сначала не сознавали, а затѣмъ уже не смогли разрѣшить.

Въ невидимой и бездонной трясинѣ увязла сестра и чѣмъ сильнѣе билась, стараясь выбраться изъ нея, тѣмъ больше въ нее погружалась.

Она сперва боролась молча, не жалуясь и не зовя на помощь, но понемногу утомлялась и ослабѣвала, изнемогая въ тщетныхъ усиліяхъ, и протягивала къ вамъ руки и молила о спасеніи.

Вы стояли на берегу, склонялись къ ней и не могли помочь.

И темное, мутное болото засасывало вашу душу съ ея тѣломъ.

Въ отношенія между сестрой и ея мужемъ вы не входили. Они предшествовали вашему знакомству и вы приняли ихъ, какъ нѣчто естественное, несомнѣнное и неиз-

бѣжное. Вы не отдѣляли ихъ отъ остальныхъ условій жизни сестры.

Съ обстоятельствами всегда приходится считаться. И вы считались съ ними, какъ съ внѣшними обстоятельствами, какъ съ обстановкой меблированной квартиры, которую бы вы сняли потому, что она вамъ подошла и понравилась въ главныхъ чертахъ своихъ и несмотря на мелкія неудобства или неприглядности.

Личныя ваши отношенія къ мужу были чѣмъ-то инымъ, такъ какъ устанавливались одновременно съ вашей близостью къ его женѣ, утверждались наряду съ ней и поэтому вызвали ту коллизію, которая положила предѣлы вашей любви и ограничила ея свободу.

Вы стояли между мужемъ и женой, сознавали это и пытались разрѣшить для себя двойственность положенія и вытекавшія изъ нея несогласія и противорѣчія.

Но не останавливались на вопросѣ, какъ разрѣшаетъ двойственность своего положенія сестра.

Она стояла между мужемъ и вами и ей приходилось тяжелѣе, чѣмъ вамъ, потому что на васъ мужъ не имѣлъ никакихъ правъ, а если бы даже имѣлъ, то былъ лишенъ возможности о нихъ откровенно говорить и требовать ихъ осуществленія, а по отношенію къ сестрѣ имѣлъ и реальныя права и возможность открыто и безъ стѣсненій обсуждать ихъ и на нихъ настаивать.

Извращенныя человѣческія отношенія, связывающія людей всякаго рода привязанностями, основанными на непознанномъ и слѣпомъ ощущеніи собственной слабости каждаго, держатся лишь мнимыми правами любящаго на любимаго и такими же мнимыми обязанностями любимаго передъ любящимъ.

Люди любятъ, потому что нуждаются въ другихъ. Но

потому что нуждаются,—хотятъ обезпечить себя и свою любовь и охраняютъ ее правами.

Если бы они были послѣдовательны, они бы признали, что любя для себя, они могутъ, пожалуй, желать, но не требовать поддержки отъ другихъ.

Если бы они умѣли вдуматься и увидѣть, они бы поняли, что любя, соединяютъ себя не съ отдѣльнымъ человѣкомъ, а чрезъ него со вселенной и во вселенной съ Богомъ, и, такимъ образомъ, не въ поддержкѣ другого нуждаются, а въ собственной любви и въ собственной вѣрѣ, въ которыхъ единственно возможная поддержка и единственно вѣрный оплотъ каждаго для себя.

Любовь, обращенная къ кому нибудь, должна быть свободнымъ даромъ и не вправѣ требовать отплаты, такъ какъ она сама для себя и для любящаго высшая награда и лучшая отплата.

Но этого не умѣютъ постичь люди и унижаютъ свои чувства требованіями, торгуютъ ими, какъ купцы товарами, взвѣшиваютъ ихъ, измѣряютъ, устанавливаютъ произвольныя цѣны и настаиваютъ на опредѣленной по размѣрамъ платѣ въ опредѣленные сроки.

Этимъ вызываются почти всѣ недомолвки, несогласія, упреки и ссоры между близкими людьми, и обманы, и сцены ревности.

И тѣмъ труднѣе освободиться отъ соблазна собственныхъ правъ и чужихъ обязанностей, чѣмъ точнѣе и строже опредѣляются они законами, опирающимися на авторитетъ привычки и на силу принужденія,

Ужъ на что былъ справедливѣе и проницательнѣе другихъ мужъ и все же не сумѣлъ вполнѣ отдѣлаться отъ обычнаго заблужденія и побѣдить коварное искушеніе.

Онъ считалъ свободными и сестру и себя, утверждалъ эту свободу, пытался быть ей вѣрнымъ. Но вѣрность свободѣ какъ-то невольно ограничивалась тѣми внѣшними

отношеніями, въ которыхъ обыкновенно разгораются самыя страстныя столкновенія между людьми и особенно наглядно проявляется деспотизмъ любви и желаній, не гнушающихся насилія. Этого деспотизма онъ бы въ себѣ не потерпѣлъ. И постыдился бы заявлять права дарованныя и защищаемыя закономъ.

Даже болѣе того, онъ не посягнулъ бы на чувства сестры къ другимъ—въ чемъ вы могли убѣдиться на собственномъ примѣрѣ—и не препятствовалъ бы ей разойтись съ нимъ, если бы она этого захотѣла.

Но, разрушивъ видимую крѣпость правъ, онъ не сумѣлъ добраться до послѣдняго, невидимаго ея оплота. Смутно прозрѣвалъ его и не могъ найти и подойти къ нему вплотную.

Онъ внималъ тихому шепоту, убѣждавшему и увлекавшему его, и не зналъ, кто нашептывалъ ему соблазнительныя рѣчи: любовь или права любви.

„Пока жена говоритъ, что близка тебѣ, что любитъ тебя, пока не отрицаетъ прошлыхъ утвержденій и отношеній, тебѣ нѣтъ дѣла до ея чувствъ къ другимъ, ты можешь и долженъ такъ любить ее и такъ проявлять свою любовь, какъ ты это дѣлалъ до сихъ поръ, если самъ къ ней не измѣнился".

Тайный голосъ былъ бы правъ, если бы люди умѣли проявлять свою любовь самостоятельно, не нуждаясь въ другихъ людяхъ, въ ихъ согласіи или покорности, если бы они могли давать не беря, дарить не овладѣвая.

Но проявлять любовь значитъ для нихъ овладѣвать любимымъ человѣкомъ, овладѣвать заботами о немъ, овладѣвать ласками, физически овладѣвать въ чувственномъ возбужденіи страсти.

И трагична любовь тѣмъ, что она—жажда сліянія и что невозможно полное и окончательное сліяніе; тѣмъ, что она—высшая свобода или стремленіе къ высшей свободѣ и не можетъ не быть чувственнымъ позывомъ, который долженъ

искать удовлетворенія въ другихъ людяхъ, зависитъ отъ нихъ, пользуется ими, насилуетъ ихъ, слѣдовательно—чуждъ свободы.

Въ жизни, въ этомъ мірѣ, нѣтъ исхода изъ трагическихъ противорѣчій, и если намѣренно не закрывать на нихъ очей, то нельзя не искать разрѣшенія и примиренія въ вѣрѣ, въ мечтахъ о Богѣ, утѣшающихъ и успокоивающихъ смущенное сознаніе раскрытіемъ смысла и значенія мірозданія и бытія.

Бѣда наша въ томъ, что религіозное чувство подавляется въ насъ съ дѣтства деспотизмомъ авторитета или отрицанія. Догматическая вѣра или невѣріе исчерпываютъ религіозныя воззрѣнія человѣчества и возможныя основы воспитанія. Люди до сихъ поръ не сумѣли разглядѣть истиннаго лика за обманчивыми личинами, не увидѣли вѣры за маской невѣрія и религіознаго чувства за маской вѣры.

Вѣра для человѣчества неотдѣлима отъ вѣроученія и не связуется съ религіознымъ чувствомъ.

На дѣлѣ же религіозное чувство неразрывно и по существу связано съ вѣрой, а вѣроученіе есть лишь внѣшнее и случайное послѣдствіе вѣры ищущей воплощенія.

То, что мы обычно называемъ вѣрой, есть или вѣроученіе, т. е. воплощенное религіозное чувство и сознаніе, или само это чувство, но лишь поскольку оно совпадаетъ съ опредѣленной и строго ограниченной догматикой того или другого ученія. Основа и суть религіознаго чувства остаются въ сторонѣ, и поэтому центръ тяжести переносится отъ него на отдѣльныя и случайныя его проявленія.

Это смѣшеніе понятій, эта перетасовка цѣнностей до того намъ привычны, что кажутся естественными и необходимыми, и тѣ, кто позналъ ихъ ошибочность, тѣ, кто считаетъ религіозное чувство одной изъ функцій сознанія, принуждены, для избѣжанія недоразумѣній, разграничить ходячія понятія, отдѣлить религіозное чувство отъ вѣры и послѣднюю, какъ цвѣтокъ, сорванный и отдѣленный отъ корня, или бросить, вглядѣвшись въ ея увяданіе, или засушить и сохранить на память о чемъ-то, что было живо и

цвѣло когда-то и никогда больше не оживетъ и не расцвѣтетъ.

Религіозное чувство—источникъ вѣры, но вѣры свободной, не подчиняющейся никакому внѣшнему авторитету, не возстающей противъ разума, а согласной съ нимъ, не отдѣляющей одну область познанія и воспріятія отъ другихъ, а гармонично объединяющей ее со всѣми, не отрицающей свободу, не унижающей человѣка, а утверждающей личность, божественное начало личности и божественность міра.

Какъ всѣ наши чувства—религіозное чувство должно быть свободнымъ, не можетъ не быть свободнымъ, чахнетъ и увядаетъ, какъ только попадаетъ въ неволю.

И поэтому современная вѣра несовмѣстима съ нимъ.

И поэтому нѣтъ и никогда не было полной внутренней примиренности и гармоніи у послѣдователей и приверженцевъ опредѣленныхъ вѣроученій.

Всегда борется въ нихъ религіозное чувство, ищущее свободы, съ вѣрой, отказавшейся отъ нея, и чѣмъ въ нихъ слабѣе личность, сознаніе своего „я“ и связи его со вселенной, тѣмъ безусловнѣе ихъ вѣра и незамѣтнѣе внутренняя борьба. Но никогда не прекращается она вполнѣ, потому что ничто не умираетъ въ человѣкѣ, пока не умеръ онъ самъ.

Насколько то, что мы привыкли звать вѣрой, не совпадаетъ съ религіознымъ чувствомъ, особенно ярко замѣтно на людяхъ слѣпо и безусловно приверженныхъ какому-нибудь опредѣленному вѣроученію.

Чѣмъ безусловнѣе и тверже ихъ вѣра, тѣмъ обыкновенно безсильнѣе религіозное чувство, религіозная ихъ настроенность; и непосредственное внутреннее ощущеніе божественности человѣка, собственной личности и міра, уступаетъ мѣсто внѣшнему, механическому поклоненію и подчиненію внѣшнимъ же механическимъ велѣніямъ, нормамъ, волѣ единоличнаго и ограниченнаго собою Существа, отдѣльнаго

отъ міра, отъ каждой человѣческой личности, властнаго надъ ними, и поэтому не внутренне и органически, а только внѣшне-механически связаннаго съ ними.

И слѣдовало бы принять новую терминологію и противопоставить религіозное чувство вѣрѣ, чтобы избѣжать путаницы и случайныхъ разногласій.

Если же возможно было бы возстановить первоначальное понятіе вѣры, то стало бы ясно, что безъ вѣры не обходится, не можетъ обойтись ни одинъ человѣкъ, и тѣ, кто отрицаютъ Бога и вѣрятъ въ науку, въ природу, т.-е. въ видимый міръ, или въ людей,—сквозь конечное и видимое ощущаютъ невидимое и безконечное, т.-е. отрицая Бога на словахъ, внутреннимъ чувствомъ утверждаютъ Его,—или же ничего за преходящими формами и явленіями не желаютъ видѣть, и въ такомъ случаѣ сами обманываютъ себя, возводя на водѣ песочные замки.

Куда ни взглянемъ мы открытымъ и смѣлымъ взглядомъ, въ какую сторону ни направимся, повсюду встрѣчаемъ одну и ту же, вѣчную и неизмѣнную тайну, одну и ту же трагическую коллизію, безысходную и неразрѣшимую для насъ.

Въ нее упираются науки, о ней свидѣтельствуетъ реальная, практическая жизнь земли, ее утверждаетъ человѣческая любовь.

Въ несовершенствѣ земной любви и земного сліянія, несомнѣнномъ и трагичномъ, съ неменьшей несомнѣнностью обнаруживаются существованіе распада, дробленія, отдѣльности человѣка отъ человѣка и отъ міра, и жажда единенія, какъ-будто свидѣтельствующая о томъ, что распадъ этотъ не изначаленъ, не раньше всего, а послѣ чего-то произошелъ, и слѣдовательно, не вѣченъ, а когда-нибудь и какъ-нибудь прекратится.

Воспитанный въ невѣріи, мужъ послѣ долгой и мучительной внутренней борьбы призналъ и позналъ Бога въ великой тайнѣ бытія. Особенно ярко и отчетливо увидѣлъ онъ ее сквозь таинственную прозрачность любви. И отъ любви пришелъ къ вѣрѣ.

Освободилось и заговорило въ немъ религіозное чувство. И требовало воплощенія, искало внѣшнихъ формъ вѣроученія и не находило ихъ, не мирилось съ ихъ рамками, не укладывалось въ ихъ точную опредѣленность.

Какъ только неоформленное и все же реально-очевидное чувство сближалось со словами, оно теряло свою истинную очевидность, которая замѣнялась относительной очевидностью земли, соотвѣтствующей не бытію, а быту.

Ограниченные временемъ и пространствомъ мы не можемъ непосредственно мыслить вѣчности и не органически представляемъ ее себѣ, а лишь механически возводимъ понятіе о ней на зыбкой почвѣ противоположенія. И забывая это, постоянно орудуемъ съ ней, какъ съ понятіями непосредственной данности.

Въ этомъ роковая опасность для всѣхъ вѣроученій, которыя никакъ не могутъ примириться съ неизбѣжной неопредѣленностью очертаній вѣчной тайны, подобной неопредѣленности земныхъ очертаній въ вечернемъ или предутреннемъ сумракѣ, и пытаются точно обрисовать ее и поневолѣ придаютъ ей земныя формы и человѣческій обликъ.

Въ откровеніяхъ человѣческихъ есть несомнѣнность, которая выше споровъ и не знаетъ возраженій. Откровенія эти не отъ насъ, и воспринятыя сквозь реальность видимаго, предметнаго міра, онѣ во всякомъ случаѣ уже не менѣе реальны и очевидны, чѣмъ онъ самъ.

Но на нихъ возводятъ люди зданіе вѣры и это зданіе

цѣликомъ слагается изъ земныхъ матеріаловъ и подобно сооруженіямъ земнымъ.

Такъ, образно училъ Христосъ о Церкви, о соборности людей въ Богѣ, о внутреннемъ единеніи вѣрующихъ въ Него. И на непреложномъ фундаментѣ божественной правды возвели люди каменныя и деревянныя церкви, ничѣмъ, кромѣ несущественныхъ подробностей формы, не отличающіяся отъ другихъ земныхъ построекъ.

Несовершенство, невозможность сліянія—главная земная трагедія.

Трагично неосуществимое стремленіе къ единству и сознаніе оторванности и неизбѣжность жизни и смерти отъ несовершеннаго сліянія, т.-е. постоянное повтореніе и продолженіе того же дробленія и распада.

Такъ какъ вся культура творилась мужскимъ умомъ, то образно это вѣчное стремленіе къ полнотѣ, къ цѣльности, къ единству, выразилось въ ученіи о „вѣчно-женственномъ“. „Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“.

Безъисходность и непрерывность земной трагедіи до того очевидны и неизбѣжны, что закрывать на нее глаза и отворачиваться отъ нея можетъ лишь тотъ, кто согласился быть овцой или волкомъ въ стадѣ волковъ или овецъ, пастись на травкѣ или щелкать зубами отъ голода и такъ, насыщая свой желудокъ мирно или насильно, отдавать свою шерсть или свой мѣхъ, ради жизни или вмѣстѣ съ нею

Трагичность жизни можно преодолѣть діалектически, ища утѣшенія въ самой трагичности и непрерывности трагедіи, какъ это сдѣлалъ Гете: „Es lebt der Mensch so lang er strebt“.

Онъ въ краткой формулѣ выразилъ то міроотношеніе, которое создало образы Донъ-Жуана и Фауста. Они — родные братья, но старшій, Фаустъ, разносторонній и ученый, былъ

искателемъ во всѣхъ областяхъ жизни, а младшій, Донъ-Жуанъ, лишь въ одной — въ любви. Фаустъ, однако, кончилъ тѣмъ, съ чего началъ Донъ-Жуанъ и такимъ образомъ какъ бы призналъ и подчеркнулъ правоту послѣдняго.

Кромѣ этого пути для преодолѣнія вѣчной трагедіи есть только еще одинъ, опять-таки діалектическій.

Можно утверждать, что первоначальный распадъ былъ органическимъ — иначе мы его и мыслить не должны — и что несовершенство земного сліянія въ томъ, что оно механическое; и поэтому мечтать о новомъ, органическомъ же сліяніи, т.-е. о преображенномъ духѣ и о преображенной плоти.

Но такое преображенное состояніе немыслимо въ этомъ мірѣ, означаетъ его конецъ, и слѣдовательно, жаждать его реальнаго осуществленія нельзя, не вѣря въ конецъ міра, не желая страстно скорѣйшаго наступленія этого конца. Даже допуская преображеніе человѣчества на землѣ, даже вѣря въ наступленіе „рая земного“, „царства святыхъ“ на землѣ, нельзя не связать ихъ съ окончаніемъ здѣшняго міра, не считать ихъ концомъ его, такъ какъ невозможно представить себѣ земной міръ, достигшій совершенства, обрѣтшій равновѣсіе и замерзшій въ неподвижности. „Тысячелѣтнее царство святыхъ на землѣ“ есть уже конецъ земли, смерть этого міра, можетъ быть бытіе, но не жизнь.

Самая мысль о первоначальномъ распадѣ, если только ее принимать за нѣчто опредѣленное и по земному ясное и реальное, — не за намекъ, брошенный намъ дѣйствительностью, точно теченіемъ принесенные невѣдомые листья и цвѣты невѣдомой земли, существованіе которой мы на ихъ основаніи предполагаемъ, по извѣстному заключая о неизвѣстномъ, но не обусловливая извѣстнаго неизвѣстнымъ,—самая

мысль о первоначальномъ распадѣ, если ей подчинять дѣйствительность, неизбѣжно ведетъ къ представленію объ опредѣленномъ во времени началѣ міра, и слѣдовательно, о такомъ же опредѣленномъ во времени концѣ его.

Въ опредѣленности такого представленія есть что-то отталкивающее, противъ чего возмущается сознаніе.

Кто вѣритъ, пусть вѣритъ. Но трудно помириться съ такой вѣрой. Вѣдь и она не раскрываетъ послѣдняго смысла, не даетъ отвѣта на вопросы: отчего? и для чего? Отчего было начало? Для чего конецъ?

Отъ опредѣленности ея эти вопросы становятся только еще болѣе темными и мучительными. И если уже неизбѣжно приходится сталкиваться съ тайной, то еще неизвѣстно, гдѣ лучше съ ней столкнуться: въ зданіи ли такой вѣры и въ ея искусственномъ свѣтѣ, или внѣ его и въ свѣтѣ жизни? Отодвигать ли тайну до горизонта, на периферію сознанія или замыкать ее въ искусственномъ центрѣ — что лучше? Гдѣ меньше противорѣчій? Гдѣ больше свободы?

Не впервые появляется ученіе о концѣ міра. Вѣрили въ него такъ же реально и прежде и, хотя инымъ путемъ пришли къ ожиданію его, но ждали и жаждали не съ меньшей увѣренностью и не съ меньшей страстностью. Изъ того, что ожиданія обманулись, не слѣдуетъ, что они и теперь будутъ обмануты. Но вѣдь и не слѣдуетъ, что исполнятся.

Прежде, по крайней мѣрѣ, полагали, что имѣютъ представленіе о реальномъ и дѣйствительномъ началѣ міра, вѣрили въ реальный во времени актъ творенія, въ перваго человѣка, опредѣленнаго родоначальника человѣчества.

Такое представленіе о началѣ должно было вызвать представленіе о такомъ же концѣ.

Но свидѣтельства, на которыя оно опиралось, потеряли

для насъ свою несомнѣнную достовѣрность. Мы знаемъ, что они были не правдивой лѣтописью, а попыткой объясненія. И мы не можетъ считать ее обязательной для себя.

Не мирится сознаніе съ тѣмъ, что какому-то поколѣнію суждено нѣчто абсолютное и окончательное, чего не было дано предыдущимъ.

Чувство справедливости мирится съ прогрессомъ, ибо выгоды и невыгоды его всегда взаимно уравновѣшиваются, такъ что каждое поколѣніе между предыдущимъ и послѣдующимъ находится въ устойчивости, которая должна нарушиться, какъ только непрерывность прекратится.

Конецъ для міра можетъ наступить, лишь когда онъ себя исчерпаетъ до конца.

Но если, ограниченный временемъ и пространствомъ, онъ и противополагается иному, вѣчному, т.-е. такому гдѣ вѣчность не раздроблена, то вѣдь всякая вѣра человѣческая основана на томъ, что этотъ міръ лишь отраженіе иного, что „все преходящее лишь символъ“ вѣчнаго. И не можетъ исчерпать себя до конца преходящее, если оно символъ вѣчнаго.

Отличіе его отъ вѣчнаго — въ раздробленности, въ постоянной смѣнѣ, въ постоянномъ движеніи. Но связано оно и связуетъ съ вѣчнымъ, отражаетъ его тѣмъ, что постоянно, безначально, безконечно происходитъ эта смѣна, это движеніе.

Разъ когда-то не было, разъ когда-нибудь не будетъ, то нѣтъ и не можетъ быть органической связи, а развѣ что механическая, и слѣдовательно, нѣтъ символа, а въ лучшемъ случаѣ лишь аллегорія, т.-е. безжизненный трупъ его.

Не живой цвѣтокъ органически связанный съ природой, съ міроздаліемъ, а сорванный, высушенный, и, какъ памятка, заложенный въ книгу о природѣ.

Но это исключало бы даже возможность вѣры, самое основаніе и самую суть ея.

Такъ что, если бы вѣра была до конца послѣдовательна и вѣрна себѣ, она по этому пути должна была бы дойти до отрицанія себя же самой.

Нѣтъ, вѣра слишкомъ таинственное и свободное чувство, слишкомъ близкое великой тайнѣ бытія и съ ней неразрывно связанное, чтобы ее можно было поймать, какъ рыбу, на крючекъ словъ удочкой разсужденій, и схватить, и измѣрить отъ начала до конца, и запереть въ прозрачный бокалъ и заткнуть его пробкой, такъ, чтобы видѣть и дно его и пробку и всю рыбу отъ головы до хвоста и быть увѣреннымъ, что кромѣ нея ничего въ бокалѣ нѣтъ и быть не можетъ.

Лишь только схватишь вѣру и втиснешь ее въ бокалъ опредѣленнаго ученія, она умираетъ, какъ морская рыба въ прѣсной водѣ, такъ какъ отрывается отъ живой тайны, которой ни въ какіе бокалы опредѣленныхъ мыслей и словъ не втиснешь.

То, что мы прозрѣваемъ, объ этой тайнѣ, мы прозрѣваемъ такъ же, какъ напримѣръ квадратуру круга, т.-е. въ предѣлѣ. Несомнѣнно полное сліяніе въ конечномъ предѣлѣ, но несомнѣнна безконечность самаго пути.

И нелегко примириться сознанью съ этой безконечностью, которая безпощадно ограничиваетъ самыя страстныя и смѣлыя устремленія человѣческой мысли единымъ и непреодолимымъ словомъ: невозможно.

Поразительно близки и схожи судьбы двухъ проблемъ: математической и религіозной.

Никогда не прекращались свободныя исканія въ обѣихъ областяхъ, хотя измѣнялись и вѣчно колебались отношенія къ нимъ оффиціальныхъ представителей науки или религіи.

То благопріятствовали имъ, какъ Карлъ пятый, обѣщавшій сто тысячъ экю тому, кто найдетъ квадратуру круга;

или какъ Голландскіе Штаты, назначавшіе большую нагарду за разрѣшеніе неразрѣшимой задачи.

То осуждались всякія попытки и осмѣивались, если не карались, какъ ересь, и чуть ли не какъ богохульство.

Такъ, въ Парижской консерваторіи Искусствъ и Ремеслъ г. Дюпень, стоявшій во главѣ почтеннаго учрежденія, грозилъ тѣмъ, кто сталъ бы упорствовать въ поискахъ невозможнаго разрѣшенія, исключеніемъ изъ данной школы безъ права поступленія въ какія бы то ни было другія.

И въ 1844 г. Араго въ рѣчи, обращенной къ министру торговли по поводу вопроса о привилегіяхъ на изобрѣтенія и открытія, съ легкой ироніей коснулся того безумія, которое, по его мнѣнію, является необходимымъ условіемъ для траты времени и силъ на безполезныя и напрасныя попытки научнаго или практическаго разрѣшенія квадратуры круга.

Но не только внѣшнія судьбы обѣихъ проблемъ: религіозной и математической — поражаютъ своимъ сходствомъ, и не только по существу близки онѣ, но и по внутреннему отношенію къ нимъ тѣхъ, для кого онѣ совпадали съ самыми нужными и важными вопросами бытія.

И самое неожиданное и удивительное опредѣленіе проблемы квадратуры круга, сближающее ее съ проблемами любви и вѣры, находимъ мы у одного изъ самыхъ убѣжденныхъ маніаковъ и мучениковъ науки.

Истый фанатикъ своей вѣры въ преодолѣніе безпредѣльнаго, г. Люка мистически, почти религіозно, относился къ излюбленной научной задачѣ и пренебрегалъ чисто научными и внѣшними опредѣленіями, потому что видѣлъ и чувствовалъ въ ней нѣчто большее, болѣе глубокое и значительное.

„Любовь между прямой линіей и окружностью", — такъ опредѣлялъ онъ, не страшась насмѣшекъ, сокровенную сущность научной проблемы.

Но безконечнаго пути и онъ не прошелъ, ибо нельзя пройти до конца того, что конца не имѣетъ.

Съ ученіемъ о концѣ міра дѣло обстоитъ еще хуже.

Чѣмъ опредѣленнѣе и точнѣе представленіе о концѣ міра, тѣмъ непонятнѣе становится не только, какъ дойти до этого конца, но и что послѣ этого конца будетъ.

На первый вопросъ вовсе нѣтъ отвѣта.

Что касается второго, то тутъ только двѣ возможности.

Или міръ не прекратится и будетъ только нѣчто новое. Но тогда безсмысленно говоритъ о концѣ міра, ибо новый міръ, хотя бы отличный отъ даннаго, будетъ лишь результатомъ превращенія стараго, и слѣдовательно, можетъ и даже долженъ разсматриваться, какъ его продолженіе. Міръ постоянно превращается. И если мы говоримъ о новомъ мірѣ, то значитъ о такомъ отдаленномъ моментѣ, о такомъ его состояніи, которые будутъ значительно отличаться отъ современнаго и тѣмъ оправдывать опредѣленіе „новаго". Но какъ бы значительны ни были эти отличія будущаго отъ прошлаго, самаго существа міра они не затронутъ. А если затронутъ, то значитъ эволюція смѣнится переворотомъ, т.-е. нарушится закономѣрность и въ хаосѣ потонутъ безслѣдно всѣ возможности, предвидѣнія и убѣжденія наши и ни предсказывать, ни утверждать, ни вѣрить мы предъ лицомъ неожиданной и непознаваемой катастрофы не въ состояніи.

Но будетъ ли новый міръ продолженіемъ настоящаго въ логическомъ и необходимомъ развитіи процесса бытія, или явится результатомъ переворота, который оборветъ преемственную связь необходимости и на развалинахъ прежняго возведетъ невѣдомое и непостижимое для насъ мірозданіе,— говорить о концѣ міра въ томъ смыслѣ, что ничего уже не будетъ послѣ этого конца, что земной міръ прекратится и

будетъ то, что было изначально, мы не вправѣ, если не хотимъ играть словами.

Но обыкновенно рѣчамъ о концѣ міра придаютъ это послѣднее значеніе

Міръ земной окончитъ свое существованіе и прекратится навѣки. Исполнятся времена и завершится кругъ.

Но если тутъ завершается кругъ, то лишь порочный.

Ибо конецъ обусловливается тѣмъ, что было начало. А начало ничѣмъ не обусловливается, если не обусловливается предполагаемымъ концомъ.

Какимъ образомъ, и почему, и для чего произошелъ первоначальный распадъ — остается неизвѣстнымъ и непонятнымъ,

---

Идея о вѣчности и сопряженная съ ней идея о Богѣ что-нибудь да означаютъ независимо отъ того, апріорны ли онѣ или почерпнуты въ символичности преходящаго.

И, конечно, мы правы, когда сознаемъ свою зависимость отъ времени и пространства и условность нашей логики.

Но когда, освобождая вѣчность отъ времени и Разумъ отъ здраваго смысла, мы говоримъ объ опредѣленной религіи, объ опредѣленномъ началѣ міра и опредѣленномъ концѣ его, какъ это дѣлали и дѣлаютъ всѣ до сихъ поръ извѣстныя вѣроученія, не впадаемъ ли мы въ противорѣчіе сами съ собой? Не пользуемся ли мы земной логикой, и здравымъ смысломъ, и временемъ? Не обманываемъ ли мы сами себя, думая, что подошли къ познанію вѣчности, когда въ сущности затемнили ее и отодвинули невѣдомо куда, забыли ее и помнимъ только о времени и пространствѣ, которымъ подчинено наше мышленіе и которымъ мы невольно подчинили наше представленіе о мірѣ?

Или время и пространство объективно реальны и тогда нереальны наши мысли о вѣчности; или время и простран-

ство лишь формы нашего мышленія, и тогда реальна вѣчность, и безсмысленно въ мірѣ искать реальнаго начала и реальнаго конца.

Въ первомъ случаѣ понятіе о вѣчности результатъ діалектическаго процесса и ничему реальному не соотвѣтствуетъ, и ни о какихъ мірахъ иныхъ рѣчи быть не можетъ.

Во второмъ — представленіе о началѣ и концѣ міра — результатъ тѣхъ условій, которыми обставлено наше мышленіе и, слѣдовательно, лишь формально, а не по существу соотвѣтствуетъ истинѣ.

Въ связи съ этимъ и съ опредѣленной и точной вѣрой вообще находится вопросъ объ универсальной религіи, т.-е. о такой, которая проявляется во всѣхъ религіяхъ, лежитъ въ ихъ основѣ и когда-нибудь совпадетъ съ послѣдней долженствующей открыться человѣчеству.

Если есть универсальная религія, то лишь такъ же, какъ есть Богъ. Это значитъ, что всѣ религіи,—прошлыя, настоящія и будущія, лишь знаки ея, символы.

Если же универсальную религію понимать какъ нѣчто опредѣленное съ земной точки зрѣнія, что не символически, а непосредственно проявилось или можетъ проявиться, то это равносильно представленію о томъ, что Богъ можетъ воплотиться въ образѣ одного опредѣленнаго человѣка, весь цѣликомъ уйти въ него, такъ что лишь этотъ человѣкъ будетъ Богомъ, и другого Бога уже не будетъ въ мірѣ.

Христосъ, воплотившись, остался въ Богѣ и былъ лишь сыномъ Божіимъ. Но кто же вѣритъ, что не осталось Бога на небѣ, пока Христосъ былъ на землѣ? А если вѣритъ, то долженъ допустить, что вѣчность даже здѣсь, въ этомъ мірѣ можетъ совпасть съ временнымъ, и что, слѣдовательно, начало и конецъ міра—лишь иллюзіи нашего мышленія.

Самъ по себѣ этотъ міръ не ограниченъ и не можетъ быть отдѣлимъ отъ „міровъ иныхъ“.

„Иные міры“ и въ этомъ мірѣ. Вотъ о чемъ должна учить религія, вотъ что значитъ познать Бога не здравымъ смысломъ, а разумомъ, не слѣпой мистикой, а религіознымъ прозрѣніемъ.

Тотъ, кто вѣритъ, что иные міры внѣ этого міра, примѣняетъ земные термины къ тому, что считаетъ неземнымъ и отрицая земную логику для земли, признаетъ ее для неба.

Вглядываясь въ міръ и въ себя, ощущая свою связь съ нимъ, прозрѣвая въ немъ и въ себѣ нѣчто единое, что насъ связываетъ, мы вправѣ говорить, что отъ распада, отъ раздробленности, къ соединенію и единству направляется наше стремленіе и влечетъ насъ тайный позывъ.

Библейское преданіе о раѣ земномъ и о грѣхопаденіи, повлекшемъ за собою утрату человѣкомъ этого рая, т.-е. непосредственной связи съ міромъ и единства мірозданія, преданіе заимствованное у вавилонянъ и, вѣроятно, ими заимствованное у какого-нибудь раньше бывшаго народа, образно выражаетъ ту же мысль и то же представленіе, символически раскрываемыя дѣйствительностью, и ничѣмъ неопровергаемыя, если ихъ воспринимать какъ отраженіе въ нашемъ сознаніи совершающагося и непрерывнаго процесса бытія, но ничѣмъ рѣшительно неподтверждаемыя, если ихъ принимать не какъ символъ, а какъ непосредственную реальность.

Библейское преданіе—это образъ, самъ нуждающійся въ толкованіи, а не реальный и непосредственно воспринятый актъ совершенія.

Поэтому предрѣшать мы не вправѣ и говорить о реальномъ концѣ міра не можемъ, пока не знаемъ реальнаго начала.

Оно во мглѣ прошлаго и все дальше отодвигается назадъ по мѣрѣ того, какъ раскрывается исторія человѣчества и безпредѣльной становится позади насъ. По какому праву укажемъ мы ей предѣлы впереди?

Сколько разъ уже казалось людямъ, что они нашли исходную точку человѣческой исторіи и каждый разъ это оказывалось заблужденіемъ.

Если ужъ ставить Христа въ центрѣ міровой исторіи, то нужно, по крайней мѣрѣ, быть послѣдовательнымъ и считать отъ Него до конца міра столько же, сколько прошло отъ начала міра до Него. Такъ поступаютъ игроки, отмѣчающіе удары и вѣрящіе въ то, что они смогутъ предрѣшить ихъ и предугадать судьбу по равномѣрнымъ чередованіямъ, по правильности ожидаемыхъ геометрическихъ фигуръ.

Но весь такой расчетъ не болѣе, чѣмъ дѣтское исчисленіе по пальцамъ. И не даетъ отвѣта на вопросъ: для чего вообще нуженъ былъ Христосъ, если міръ обреченъ на конецъ, строго соотвѣтствующій началу и предрѣшенный имъ?

Если обреченъ, если было начало и будетъ конецъ, то будетъ и безъ Христа.

А если Онъ нуженъ былъ для того, чтобы спасти человѣчество, то какъ это понять?

Первой половины Онъ не спасъ; въ лучшемъ случаѣ — лишь вторую. Но развѣ это можно принять? Развѣ можно допустить, что время существованія міра разбито на двѣ половины и что всѣ поколѣнія, жившія въ первой половинѣ, достойны гибели, и всѣ поколѣнія, которымъ суждено жить во второй, достойны спасенія?

Развѣ не богохульствомъ было бы утверждать, что Богъ произвелъ такое дѣленіе и заранѣе вынесъ такой приговоръ?

А если Христосъ спасъ все человѣчество, то значитъ оно и не нуждалось въ спасеніи.

Да и вообще все ученіе о спасеніи слишкомъ пахнетъ землей, слишкомъ похоже на земныя отношенія, слишкомъ соотвѣтствуетъ представленіямъ первобытныхъ людей о Божествѣ, которое они создавали по образу и подобію человѣческому.

Нельзя Богу давать форму, не взятую на прокатъ у земли.

Нельзя вѣру воплощать въ опредѣленное ученіе не заимствуя формы его у людскихъ отношеній.

Или Богъ во всемъ и тогда ни въ чемъ исключительно. Или въ чемъ-нибудь одномъ, въ одномъ опредѣленномъ образѣ, и тогда ни въ чемъ другомъ.

Или религія—связь съ Богомъ и свободна, такъ какъ не можетъ не быть свободной связь преходящаго съ вѣчнымъ, и тогда неопредѣленна и ни въ какихъ рамкахъ догматики не умѣщается; или она—точное и опредѣленное ученіе, единственное и исключительное, и слѣдовательно авторитетна, несвободна и связуетъ не любовью, а принужденіемъ, не какъ мостъ, перекинутый черезъ бездну, а какъ цѣпь сковывающая двухъ рабовъ.

Авторитетность, принудительность и деспотичность всѣхъ опредѣленныхъ вѣроученій и въ то же время необходимость всего этого съ особенной яркостью и наглядностью обнаруживаются въ ихъ ученіи о чудѣ, въ ихъ требованіи вѣрить чуду, безъ котораго они не могутъ обойтись и не въ состояніи связать, скрѣпить, объединить отдѣльныя части своей искусственной постройки.

Если люди этого не замѣчаютъ, то потому лишь, что слова растяжимы, примѣняются различно, и получаютъ свое-

образное освѣщеніе и значеніе по мѣрѣ того, какъ забывается ихъ первоначальный смыслъ.

Когда, передъ лицомъ великой тайны, окружающей насъ и проявляющейся во всемъ, съ чѣмъ мы имѣемъ дѣло, въ видимомъ мірѣ и въ насъ самихъ, мы говоримъ о чудѣ и называемъ ее чудесной, мы утверждаемъ нѣчто, въ корнѣ отличное отъ того чуда, на которомъ основаны религіи.

Тайна рожденія, непостижимая и неизмѣнная, тайна безконечности, обнаруживающаяся въ неизмѣримости видимаго міра и сквозь закономѣрность явленій, тайна матеріи, тѣмъ ярче и настойчивѣе выступающая на свѣтъ сознанія, чѣмъ больше мы о матеріи узнаемъ—чудесны, такъ какъ непознаваемы.

Но онѣ не нарушаютъ основной и самой загадочной для насъ тайны міровой закономѣрности, которой онѣ всѣ обусловливаются и съ которой соединены, если не сліянны.

Для внимательнаго и благоговѣйнаго наблюдателя всѣ онѣ становятся отдѣльными отраженіями единаго лика и сквозь эти многія отраженія научается онъ прозрѣвать то, что именуется такъ различно: вѣчнымъ закономъ, бытіемъ, первымъ двигателемъ, природой, — и что проще всего и лучше всего именовать: Богомъ.

Тайны, окружающія насъ со всѣхъ сторонъ, не противорѣчатъ цѣльности мірового единства, ни закономѣрности совершеній, ни необходимой связи и разумной преемственности многочисленныхъ и многообразныхъ явленій, и такимъ образомъ не отрицаютъ, а утверждаютъ Разумъ, познающій и принимающій закономѣрность, необходимость, цѣлесообразность и разумность міра и свободный этимъ познаніемъ, такъ какъ свобода есть лишь отсутствіе произвола.

Религіозное чудо—нѣчто прямо противоположное.

Оно отрицаетъ разумность и необходимость, закономѣрность и цѣлесообразность, утверждаетъ какую-то чуждую

міру волю, освящаетъ произволъ, т.-е. насиліе, и слѣдовательно, отвергаетъ свободу и пріучаетъ къ рабству.

Защитники религіознаго чуда не видятъ этой основной разницы въ понятіяхъ о чудѣ и пытаются доказать, что возможность чуда не противорѣчитъ разуму.

Разуму критическому, чистому, который изслѣдуетъ свои собственные, внутренніе законы, какъ законы познанія, возможность чуда не противорѣчитъ, говорятъ они.

Это вѣрно: возможность чуда просто не въ его области. Однако лишь того чуда, которое закономѣрно, а не того, которое по существу своему означаетъ нарушеніе закономѣрности.

Самое понятіе физическаго воскресенія такъ же мало противорѣчитъ чистому разуму, утверждаютъ они, какъ понятіе физической смерти, физическаго рожденія.

Конечно, это такъ. Но только пока эти понятія разсматриваются отвлеченно, какъ понятія, т.-е., какъ однородныя данныя.

На плоскости фактовъ и событій дѣло мѣняется.

Не вѣрятъ люди въ воскресеніе Христа, потому что знаютъ по опыту, что никогда никто изъ умершихъ не воскресалъ, и также потому, что опытъ ничтожной горсти людей, видѣвшихъ и осязавшихъ или думавшихъ видѣть и осязать воскресшую плоть Іисуса, не можетъ перевѣсить опытъ всего человѣчества о непобѣдимости физической смерти.

Но—продолжаютъ защитники чуда—безусловность сужденій опытнаго разума ограничивается содержаніемъ, почерпнутымъ изъ данныхъ существующаго мірового порядка: изслѣдуя то, что есть и было, опытный разумъ по этимъ даннымъ, весьма частичнымъ и несовершеннымъ, заключаетъ, тоже лишь отчасти и весьма несовершенно, о томъ, что будетъ, или можетъ быть.

И, основываясь на законѣ эволюціи, открытомъ этимъ опытнымъ разумомъ, они доказываютъ непостоянство каж-

даго даннаго мірового порядка и постепенные переходы міра отъ одного состоянія къ другому, и невозможность для опытнаго разума заключать о содержаніи и предѣлахъ возможностей, скрытыхъ въ неизвѣстномъ будущемъ.

Это опять таки совершенно вѣрно, но только говоритъ не за нихъ, а противъ нихъ.

Опытный разумъ вполнѣ признаетъ эту невозможность предопредѣленія будущаго міра и предугаданія всѣхъ новыхъ состояній его и поэтому отказывается заранѣе и безъ точнаго обоснованія опыта принять, какъ истину, какое бы то ни было изъ этихъ возможныхъ состояній.

Можетъ быть когда-нибудь будетъ воскресеніе во плоти. Опытный разумъ объ этомъ ничего не знаетъ.

Знаетъ онъ только одно: если такое воскресеніе будетъ, то оно не будетъ чудомъ въ смыслѣ религіознаго чуда, а фактомъ несомнѣннымъ, закономѣрнымъ, можетъ быть необъяснимымъ, какъ рожденіе и смерть, но такимъ же очевиднымъ, какъ они, и ненарушающимъ порядокъ новаго міра. Знаетъ онъ и то, что до сихъ поръ и теперь какое-нибудь единичное воскресеніе во плоти было бы нарушеніемъ этого настоящаго порядка, было бы лишено закономѣрности и необходимости, и являлось бы случайнымъ,—а поэтому недопустимо.

Если бы съ несомнѣнной очевидностью такое единичное воскресеніе произошло на нашихъ глазахъ, такъ что, провѣривъ его, мы должны были бы его признать,—это было бы для насъ величайшимъ несчастіемъ, такъ какъ намъ пришлось бы отказаться отъ своего разума, отъ всякаго познанія, отъ всякаго знанія, отъ всякой закономѣрности и даже въ предѣлахъ рожденія и смерти, ограничивающихъ нашу волю и свободу, но не лишающихъ насъ свободы и воли,—лишиться ихъ окончательно и навсегда.

Такое единичное воскресеніе во плоти было бы или случайно, т.-е. явилось бы результатомъ необъяснимаго сте-

ченія обстоятельствъ, невѣроятнаго совпаденія и сцѣпленія условій, при которыхъ подобное воскресеніе всегда должно происходить, но которыя при данномъ міровомъ порядкѣ еще не могутъ встрѣчаться,—и тогда бездна ужаса и хаоса должна бы насъ поглотить.

Или же оно явилось бы результатомъ сознательной высшей воли, для которой всегда все возможно, т.-е. было бы именно религіознымъ чудомъ, и въ такомъ случаѣ—актомъ произвола и насилія, обнаруживающимъ наше рабство, утверждающимъ Бога въ образѣ деспота.

Ибо религіозное чудо—это нарушеніе всѣхъ существующихъ и дѣйствующихъ въ каждый данный моментъ міровыхъ законовъ произвольнымъ актомъ самостоятельной, особой, самодовлѣющей воли, которая проявляетъ себя такъ же, какъ проявляется въ поступкахъ человѣческихъ воля человѣческая. Вся разница—только въ мощи.

И поэтому, признавая религіозное чудо, нельзя не представлять себѣ Бога какимъ-то реальнымъ существомъ со всѣми способностями и качествами, а можетъ быть даже недостатками человѣка, но безпредѣльно увеличенными.

Такое представленіе о Богѣ неизбѣжно порываетъ связь Его съ міромъ—и съ человѣкомъ—и также неизбѣжно возноситъ Его надъ міромъ, даетъ ему полную власть надъ нимъ, рисуетъ Его въ образѣ неограниченнаго монарха, восточнаго деспота, всемогущаго тирана, для котораго всѣ люди—рабы: и возвеличенные имъ, и униженные.

Такимъ представляютъ себѣ Бога и евреи, и магометане, и христіане.

Факты подтверждаютъ выводы разума.

И напрасно пытаются оправдывать подобное отношеніе къ Богу соображеніями, доказывающими лишь то, что сознаніе человѣческое не мирится съ нимъ, возмущается и возстаетъ во имя свободы.

Его пытаются успокоить и убѣдить. Указываютъ на выс-

шую разумность Бога, на Его всеблагость, на справедливость Его и милосердіе, которыя должны устранить всякую мысль о злоупотребленіи властью. Все, что бы Онъ ни дѣлалъ и чѣмъ бы оно ни казалось намъ,—творится на благо міру и есть абсолютное благо.

Но дѣло то вовсе не въ этомъ.

На благо ли или на зло направленъ произволъ — все равно. Вѣдь и тираны бываютъ благіе. И крѣпостнымъ не всегда жилось плохо.

И все таки послѣдніе, хотя бы и счастливые, были несвободны; и существо власти отъ благого примѣненія послѣдней не мѣняется.

Если Богъ не властенъ надъ законами міра, если Онъ самъ и есть Высшій міровой законъ,—то чудо невозможно.

Если Онъ выше этихъ законовъ, то Онъ—деспотъ и люди—рабы, хотя бы міръ былъ лучшимъ изъ міровъ и судьба наша самой благостной и счастливой.

Разумъ съ этимъ не мирится.

Свобода только черезъ разумъ познается.

Животныя, покоренныя и подчиненныя людьми,—не рабы. Рабъ не сознающій своего рабства,—не рабъ; но и не человѣкъ.

Рабъ лишь тотъ, кто позналъ рабство и знаетъ свободу.

Но познавъ свободу и рабство, принять послѣднее, значитъ отказаться отъ своего человѣческаго достоинства, и унижая себя, унизить и того, кому поклоняешься.

Возвеличиваетъ лишь свободное признаніе свободнаго человѣка. Возвеличиваетъ обоихъ: и признающаго, и того, кого признаютъ.

И просто безсмысленно и кощунственно представленіе о Богѣ, который насиліемъ принуждалъ бы людей поклоняться Ему.

А религіозное чудо — насиліе.

Оно видимый знакъ и результатъ произвольнаго акта принужденія.

И порабощаетъ людей сознаніемъ ихъ собственной слабости противополагаемой чужому могуществу, т.-е. не связующей, а разъединяющей, и основывающей вѣру не на любви, а на страхѣ.

Я слишкомъ люблю Бога, чтобы бояться Его, слишкомъ цѣню свою любовь къ нему, чтобы не любить и не уважать всего, что къ Нему причастно, всего міра, и каждаго человѣка и себя самого.

Всѣ люди для меня—живые и драгоцѣнные сосуды, въ которыхъ таится живая и драгоцѣнная божественная тайна, и я самъ для себя такой же сосудъ.

Свободно, любовно и гордо несу я его и такъ же свободно, гордо и любовно пусть несутъ его всѣ другіе.

Хочу радоваться глядя на нихъ и ощущая себя и въ себѣ — Бога. Хочу радоваться, ощущая Бога въ нихъ, и знать, что они ощущаютъ Его въ себѣ и во мнѣ.

Хочу радоваться, какъ радуются свободные люди и любить, какъ любятъ свободные люди и не слышать лязга оковъ и звона цѣпей и не видѣть унылыхъ и уродливыхъ лицъ устрашенныхъ и униженныхъ рабовъ, душою и разумомъ чуждыхъ Богу, ослѣпшихъ въ сыромъ мракѣ глухой тюрьмы и ждущихъ чуда, которое они могли бы руками осязать и ощупать, какъ видимый знакъ, какъ очевидное проявленіе чуждаго имъ, безсмысленнаго и тѣмъ болѣе страшнаго и тѣмъ болѣе убѣдительнаго могущества.

Если ихъ вѣра — настоящая и безъ вѣры въ чудо нѣтъ вѣры въ Бога, то поистинѣ жалка и безутѣшна доля человѣка и, хотя правы тѣ, кто такъ вѣритъ, но не имѣютъ они права говорить о свободѣ, ни искать, ни восхвалять ее, а должны честно и прямо отречься отъ нея, отринуть ее, отряхнуть ея прахъ отъ ногъ своихъ и грозно возставать противъ нея, гдѣ бы ни встрѣтили они, хотя бы ея блѣдную и робкую тѣнь.

Если трудно, почти невозможно точно опредѣлить отношеніе человѣка къ человѣку, такъ какъ слова недостаточны и сознаніе ограничено, то насколько еще невозможнѣе опредѣлить отношенія между человѣкомъ и Богомъ!

Мы обманываемъ себя и другихъ словами,—этими знаками лишь напоминающими о чемъ-то иномъ, неопредѣленномъ и неопредѣлимомъ,—приписывая имъ самостоятельное и опредѣленное значеніе.

Мы слишкомъ легко забываемъ, что всѣ наши представленія о мірѣ иномъ, о вѣчности, о Богѣ—отрицательны, какъ отрицательно все, что съ ними связано или отъ нихъ исходитъ: и нравственность, и красота, и добродѣтели, и религіозныя заповѣди.

Мы не помнимъ, не хотимъ помнить, что Бога мы мыслимъ сквозь атрибуты Божества и, что отрицателенъ главный атрибутъ Его, изъ котораго вытекаютъ всѣ остальные.

Главный атрибутъ божества — неограниченность. И всѣ остальные получены путемъ примѣненія этого отрицанія земной ограниченности къ ограниченнымъ качествамъ и способностямъ земнымъ.

Богъ всемогущъ, потому что неограниченъ въ мощи Своей; всеблагъ, такъ какъ неограниченъ въ благости; вѣченъ, ибо не ограниченъ во времени.

Отрицательность нашихъ религіозныхъ представленій свидѣтельствуетъ о томъ, что нѣтъ въ нихъ непосредственнаго положительнаго содержанія, которому неоткуда взяться, а лишь посредствомъ опыта, путемъ ассоціаціи отъ противоположнаго полученное.

Изъ этого, повидимому, можно заключить, что если даже апріорны религіозное чувство и представленіе о Богѣ,—ибо никакой внѣшній опытъ ничего подобнаго намъ дать не можетъ, — то все же абсолютное и непосредственно положительное содержаніе ими не даруется и даже не предполагается.

Ощущаемъ мы Бога и вѣримъ въ Него непосредственно Но все, что о Немъ, кромѣ этого ощущенія, Его неопредѣляющаго, знаемъ,—относительно, шатко, оспоримо, можетъ быть невѣрно и во всякомъ случаѣ лишено очевидности и непреложности.

Изъ этого не слѣдуетъ, что мы должны отвергнуть свое представленіе о Богѣ.

Но, познавъ Его земное происхожденіе и зависимость отъ формъ и условій земныхъ, мы поступимъ разумно, если будемъ подходить къ нему съ наибольшей осторожностью и разъ навсегда откажемся отъ всякой увѣренности, а тѣмъ болѣе категоричности утвержденій во всемъ, что касается Бога, вѣчности, міровъ иныхъ и всѣхъ основныхъ вопросовъ бытія.

Твердая увѣренность и неуступчивая категоричность религіозныхъ утвержденій по существу противорѣчатъ самому понятію о вѣрѣ и неразрывно связаны съ принужденіемъ и насиліемъ.

Связь человѣка съ Богомъ свободна, такъ какъ она основана на вѣрѣ, т.-е. на любви.

Но вѣдь въ основѣ своей свободна и связь человѣка съ человѣкомъ.

А между тѣмъ человѣческія отношенія несвободны, сплетены съ насиліемъ и принужденіемъ.

Произошло это потому, что въ силу обстоятельствъ установились опредѣленныя формы общенія между людьми.

Нельзя было допускать, чтобы каждый создавалъ эти формы по своему усмотрѣнію и желанію. Поэтому пришлось ограничить свободу и сдѣлать эти формы обязательными, чтобы онѣ стали общими.

То, что произошло въ царствѣ человѣческомъ, не можетъ не произойти въ царствѣ Божіемъ, если возводить его

на землѣ въ такихъ же опредѣленныхъ и общеобязательныхъ формахъ, каковы формы общественныя и государственныя.

Если не ограничиваться царствомъ Божіимъ въ душѣ каждаго человѣка, если искать его осуществленія во внѣ, въ какой бы то ни было внѣшне-опредѣленной соборности людей, если считать спасеніе необходимымъ и невозможнымъ внѣ соборности, если быть убѣжденнымъ въ ограниченности и конечности даннаго міра и въ неизбѣжности совершить нѣчто желаемое или даже требуемое Богомъ до этого конца, то поневолѣ придется отрицать свободу, не гнушаться насилія надъ другими, и всѣми средствами и всѣми путями стремиться къ завѣтной цѣли.

Нетерпимость всѣхъ религій и всѣхъ покорныхъ и убѣжденныхъ приверженцевъ ихъ объясняется и отчасти оправ. дывается этими соображеніями, хотя вызывается она и другими мотивами, чисто психологическими и болѣе личными-

Церковнослужителямъ нужны вѣрующіе, какъ государству нужны подданные.

И какъ соревнуютъ другъ передъ другомъ государства размѣрами территорій и количествомъ народонаселенія, такъ точно соревнуютъ и различныя вѣроученія.

Во имя лживаго призрака величія враждуютъ государства.

И во имя такого же призрака величія враждуютъ религіи.

А вѣрующимъ нужны единомышленники для поддержанія ихъ вѣры.

Чѣмъ ихъ больше, тѣмъ они увѣреннѣе и спокойнѣе.

Ихъ влечетъ то стадное чувство, которое основано на слабости и неувѣренности каждаго отдѣльнаго человѣка въ себѣ самомъ, на его привычкѣ опираться на другихъ, хотя бы онъ заблуждался съ ними и былъ правъ, если бы по-

шелъ противъ нихъ, хотя бы онъ погибъ со всѣми, и спасся, если бы оставался одинъ.

На міру и смерть красна.

Поэтому терпимость и свобода — лишь благія пожеланія, которыя могутъ быть воплощены въ законныя формы, но никогда не будутъ осуществлены на землѣ, пока сохранятся среди людей религіи, опирающіяся на авторитетъ божественныхъ откровеній, т.-е. на принужденіе опредѣленныхъ формъ общенія съ Богомъ и опредѣленнаго ученія о опасеніи на точныхъ и неизмѣнныхъ условіяхъ, установленныхъ разъ навсегда Самимъ Божествомъ.

Во всѣхъ этихъ сложныхъ противорѣчіяхъ разбирался мужъ и не находилъ того окончательнаго разрѣшенія, которое примирило бы ихъ и согласило.

Онъ вѣрилъ, отрицая религіи. Связывалъ любовь съ вѣрой, утверждалъ ихъ свободу и не могъ ее осуществить.

Не признавалъ чуда и въ минуты глубокой горести и тоски, не видя выхода, какъ-то невольно обращался къ кому-то, кто все можетъ, и молилъ его о помощи, о невозможномъ, о чудѣ.

Кто это сказалъ, что „всѣ молитвы человѣческія—мольбы о чудѣ"?

Онъ стыдился своей непослѣдовательности и слабости, отгонялъ отъ себя недостойныя его разума мысли и настроенія и гнѣвное возмущеніе увлекало его въ противоположную крайность.

Неопредѣленность представленія о Богѣ заставляла его колебаться, какъ маятникъ часовъ, идущихъ, но несходящихъ съ мѣста.

И слишкомъ земное, человѣческое утвержденіе Бога смѣнялось земнымъ же, слишкомъ человѣческимъ отрицаніемъ Его.

„Можетъ быть, Бога и нѣтъ вовсе, а есть только мысль о Немъ. И мысль эта реальна, какъ сама жизнь. И поскольку она реальна и жива, постольку существуетъ и Богъ для каждаго человѣка, который Его мыслитъ".

И разсказывалъ онъ друзьямъ полушутливую притчу объ огнѣ, не зная самъ, вѣритъ онъ ей или не вѣритъ.

ПРИТЧА ОБЪ ОГНѢ.

Когда старый профессоръ, докторъ математики, умеръ съ нимъ произошло что-то до того странное, что онъ долго не могъ притти въ себя.

Очнулся онъ въ громадной пріемной, которая, однако, не показалась ему громадной и хотя была переполнена ожидающими, не казалась полной.

Профессоръ помѣстился гдѣ-то въ углу и никого не расспрашивая понялъ, что вокругъ него умершіе люди, что они прибываютъ по мѣрѣ того, какъ кончаютъ жизнь и ждутъ по очереди доступа къ Тому, Кого считаютъ Творцомъ вселенной и Верховнымъ Судьей.

Онъ забился въ уголъ, смущенный и встревоженный.

Кругомъ все было, какъ на землѣ, и все было не то; все было человѣческое, но не по-человѣчески. И люди были не людьми, и онъ самъ былъ не собою. Непріятное чувство тревоги волновало его.

Онъ охотно допускалъ, что всѣ другіе, вѣрившіе въ Бога, очутились здѣсь, ожидая часа, когда предстанутъ передъ Нимъ. Создавши Его воображеніемъ, они могли воображать Его и послѣ смерти.

Но онъ,. всю жизнь отрицавшій существованіе Бога, не находившій для него мѣста среди явленій мірозданья, въ строгой логикѣ, послѣдовательности и необходимости, связывавшихъ причину со слѣдствіемъ и одно звено безконечной цѣпи съ другими, — онъ не могъ и не долженъ былъ явиться въ эту пріемную и ждать вмѣстѣ со всѣми.

И если неизвѣстно какъ и почему онъ попалъ туда же, куда и всѣ, и ждалъ Того же, Кого и всѣ ждали, то это

могло быть объяснено только ошибкою въ его прежнихъ разсужденіяхъ и заблужденіемъ его человѣческаго ума. Онъ всю жизнь во имя науки отрицалъ Бога и съ горечью и страхомъ начиналъ ощущать неизбѣжность отрицанія науки во имя Бога.

Онъ медленно и робко оглядѣлъ присутствующихъ и только успѣлъ дойти взоромъ до того мѣста, откуда онъ самъ вошелъ, какъ, пораженный, отшатнулся назадъ и съежился. Въ пріемную входилъ кюре, большой его пріятель, постоянный оппонентъ и непримиримый врагъ его идей.

Кюре подвигался съ извѣстной важностью и серьезностью, какъ бы съ сознаніемъ глубокаго значенія того, что съ нимъ происходило, просвѣтленный сбывшеюся надеждой, оправданной вѣрой, и все же немного смущенный, какъ подобаетъ подчиненному, исполнительному и ревностному, но знающему, что такое начальство, какъ нельзя быть увѣреннымъ въ своей правотѣ передъ нимъ, и какъ все зависитъ отъ случая, отъ минутнаго расположенія и самыхъ неожиданныхъ и мелкихъ причинъ.

Профессоръ откинулся назадъ, съежился, сжался, чтобы только не попасться на глаза вошедшему, но тотъ сейчасъ же замѣтилъ его и оживленный и радостный подбѣжалъ къ нему и усѣлся рядомъ.

Онъ нисколько не удивился встрѣчѣ и вообще держалъ себя такъ, какъ будто все было именно тѣмъ, чѣмъ должно было быть. Это раздражало профессора, но сдѣлать онъ ничего не могъ.

Онъ искалъ, съ чего начать разговоръ, чтобы отвлечь его отъ непріятной для него въ настоящую минуту темы, и собирался уже спросить: „значитъ и вы умерли, господинъ кюре?“; но кюре его предупредилъ:

„Ну-съ, что скажете, мой любезнѣйшій профессоръ?“— началъ онъ необыкновенно мягко и изысканно вѣжливо, какъ это свойственно людямъ, чувствующимъ, что против-

никъ въ ихъ власти, и что они сейчасъ скрутятъ его.—Что скажете, мой любезнѣйшій профессоръ? Вотъ, вы и разстались съ бреннымъ тѣломъ и покинули юдоль скорби и грѣха, въ которую Всемогущее Провидѣніе послало васъ на испытаніе. Какъ вы себя чувствуете?

Профессоръ хотѣлъ было возразить, что „прекрасно", но кюре не далъ ему отвѣтить и продолжалъ самъ.

„Странно, не правда ли? Не совсѣмъ по себѣ? Да это и понятно. Всѣмъ намъ, бѣднымъ грѣшникамъ, привыкшимъ къ слѣпому подчиненію волѣ Всевышняго, и жутко и странно на душѣ. Тѣмъ болѣе должны смутиться вы, отрицавшіе въ дерзкой гордынѣ Того, Кто нынѣ призвалъ васъ къ себѣ. Тяжело и страшно отказаться отъ всего, что разумъ привыкъ считать правдой, въ пользу того, что долгіе годы казалось заблужденіемъ, въ особенности, когда это заблужденіе есть тяжкій грѣхъ, величайшій грѣхъ, за который Отецъ нашъ Небесный обѣщалъ жестоко и сурово покарать совершившихъ его. Да, да,—весело засмѣялся кюре,—поджарятъ васъ на раскаленныхъ сковородахъ, повытянутъ изъ васъ жилы, повывернутъ вамъ кости; а больше всего достанется вашему мозгу, самоувѣренному и высокомѣрному. Что съ нимъ будетъ сотворено—и придумать не могу". И кюре снова разсмѣялся.

Профессоръ сидѣлъ мрачный и озлобленный. Онъ старался сосредоточиться и построить, какъ прежде, аргументацію на строго научныхъ данныхъ, чтобъ разгромить торжествующаго соперника. Но кюре угадалъ его мысли и снова напалъ на него.

— Напрасно стараетесь дражайшій профессоръ; никакіе доводы не помогутъ вамъ. Прежнія разсужденія никуда не годятся. Вы, конечно, можете вновь повторить, что пока дважды два—четыре, пока прямая—кратчайшее разстояніе между двумя точками, пока квадратъ гипотенузы равняется суммѣ квадратовъ двухъ катетовъ и пока мы можемъ съ

точностью предсказать годъ, мѣсяцъ, день, часъ и минуту солнечнаго или луннаго затменія и появленія на нашемъ горизонтѣ той или иной планеты, — въ мірѣ нѣтъ мѣста для Бога. Вы можете нагромождать факты надъ фактами и оспаривать земную вѣру, которая не въ силахъ побѣдить въ борьбѣ, гдѣ пущено въ дѣло такое оружіе. Но нынѣ я вооруженъ по вашему и встрѣчаю ваши факты тѣмъ же, такимъ же, но болѣе сильнымъ и убѣдительнымъ фактомъ: мы умерли, мы у Бога, мы ждемъ Его и сейчасъ, черезъ нѣсколько мгновеній, предстанемъ передъ Нимъ. Противъ этого никакая наука ничего возразить не можетъ, и если необходимъ выборъ, то онъ, очевидно, будетъ не въ пользу всѣхъ вашихъ „непреложныхъ и положительныхъ“ знаній, выводовъ, формулъ, вычисленій и теоремъ. Мы у Бога, милѣйшій профессоръ! Попробуйте-ка что-нибудь возразить на это, опровергнуть этотъ высшей важности и значенія фактъ.

Кюре, торжествуя, посмотрѣлъ на смущеннаго профессора и перевелъ взоръ на ближайшихъ сосѣдей, одобрительно внимавшихъ его рѣчи.

„Да, — заключилъ онъ, — Богъ все; человѣкъ — ничто. Вотъ, мы были на землѣ и Богъ былъ, хотя вы Его отрицали; мы умерли — а Богъ все-таки есть, хотя бы вы и теперь отвергали Его“.

Общее сочувствіе было на сторонѣ кюре. Онъ обратилъ на себя всеобщее вниманіе, и бѣдный профессоръ чувствовалъ себя до того неловко подъ устремленными на него со всѣхъ сторонъ неодобрительными взглядами, что, не зная, куда дѣть свои руки, мѣшавшія ему и въ его бытность на землѣ, когда онъ не спалъ, не ѣлъ и не писалъ, невольно засунулъ ихъ въ карманы, привычнымъ жестомъ вытащилъ портсигаръ и спички, вынулъ папироску, расправилъ ее и закурилъ. Спичку онъ бросилъ. Она упала, не успѣвъ погаснуть, и маленькое пламя, пробѣжавъ по тонкой палочкѣ, обхватило ее, поглотило... и исчезло.

Кюре, внимательно слѣдившій за профессоромъ, повторяя: „Богъ — все, мы — ничто“, — внутренно удивлялся его молчанію. Онъ думалъ, что тотъ хотя что-нибудь да возразитъ, и по старой привычкѣ, хотя былъ увѣренъ въ своей правотѣ и въ своемъ торжествѣ, немного боялся того, что услышитъ.

Папироска смутила его, такъ какъ профессоръ имѣлъ привычку закуривать, прежде чѣмъ окончательнымъ доводомъ положить конецъ спору, совершенно побивъ соперника. Кюре напряженно смотрѣлъ на профессора, на его папироску, на брошенную горящую спичку.

Профессоръ все молчалъ, спичка все горѣла, сгорала и вдругъ погасла, и не осталось ни спички, ни огня. Кюре вздрогнулъ.

Ему вдругъ показалось, что профессоръ нарочно все это продѣлалъ, что огонь, на которомъ сгорѣла спичка, исчезнувшая вмѣстѣ съ нимъ, имѣлъ какой-то таинственный смыслъ.

Мощный, всесильный, невѣдомый, онъ пріобрѣталъ реальное бытіе только въ томъ, что сожигалъ; жилъ только пока существовало дерево, которое онъ обугливалъ. Все могло горѣть, но не все горѣло и было дерево безъ огня, но не было огня безъ дерева, или бумаги, или чего-нибудь другого.

Не такъ ли, — мелькнула у кюре мысль, — и Богъ существуетъ только въ тѣхъ, кто призналъ Его, и гибнетъ вмѣстѣ съ ними; нѣтъ Бога внѣ человѣка и нѣтъ Бога, когда, человѣкъ не призналъ его; и есть человѣкъ безъ Бога.

Встревоженный онъ оглянулся на сосѣдей и встрѣтилъ такіе же испуганные и встревоженные взгляды. Робко посмотрѣлъ онъ на профессора, но тотъ сидѣлъ потупившись, безмолвный и унылый и только попыхивалъ папироской.

Долго длилось тяжелое молчаніе. Обугленные остатки сгорѣвшей спички давно уже развѣялись незамѣтной пылью;

докуренная и забытая папироска бѣлѣла межъ пальцевъ стараго профессора. Все прибывали новые и новые покойники; все исчезали одинъ по одному тѣ, кто сидѣли въ пріемной, исчезали безшумно и не возвращались, и неизвѣстно было, что сталось съ ними.

Очередь доходила до профессора.

Когда онъ всталъ и направился туда, куда направлялись всѣ, кюре заволновался. Профессоръ остановился, будто соображая что-то, повернулся къ нему и протянувъ впередъ руку съ потухшей папироской, какъ-то неувѣренно процѣдилъ: а что если вы неправы, и то, что вы считали фактомъ—не фактъ?.. И тамъ насъ ждетъ не Богъ, а только такое же продолженіе настоящаго, какое оно для прошлой нашей жизни, и вѣчно только бытіе и нѣтъ бытія невоплощеннаго?

Не дожидаясь отвѣта онъ зашагалъ навстрѣчу неизвѣстному.

Тревожные взгляды сопровождали его; и кюре, терзаемый и злобою на него и страхомъ, не выдержалъ и крикнулъ ему въ догонку: „Профессоръ, профессоръ! бросьте папироску“.

Онъ не могъ не знать и не сознавать, что постепенно близится къ концу нить его жизни и хотя не допускалъ къ себѣ страха смерти, но мысли о ней отдалить отъ себя и не могъ и не хотѣлъ.

И во всей своей загадочности и поэтому жуткости стояла она передъ его духовнымъ взоромъ и затемняла его.

И чѣмъ больше онъ старался преодолѣть ее и не поддаваться ея соблазну, тѣмъ судорожнѣе хватался за жизнь, за остающійся кусокъ жизни, тѣмъ труднѣе становилось безпристрастное отношеніе къ ней и свободное и спокойно-просвѣтленное приниманіе ея.

Не было времени ждать и примиряться; и острое ощущеніе безвозвратной потери заставляло спѣшить, нарушало равновѣсіе, влекло къ активному вмѣшательству въ жизнь, обольщая иллюзіей возможной побѣды воли надъ судьбой.

Все въ мірѣ становилось безсвязнымъ, раздѣльнымъ, самостоятельнымъ, и во всемъ какъ-будто проявлялась сознательная сила, и весь вопросъ при каждомъ столкновеніи различныхъ силъ сводился лишь къ тому: какая побѣдитъ?

Воля искала поддержки разума, который долженъ былъ доказать ея правоту, освободить ее отъ сомнѣній, возстановить ея цѣльность и мощь.

И наперекоръ разуму возникало представленіе о какой-то высшей волѣ и непобѣдимой силѣ, отдѣльной и самостоятельной, и безсвязной, какъ всѣ остальныя, и произвольнымъ вмѣшательствомъ въ борьбу дарующей перевѣсъ однимъ и пораженіе другимъ.

Богъ становился царемъ царей и чудо было проявленіемъ Его мгновенной прихоти.

Нельзя было упускать послѣдняго счастья, какъ нельзя спокойно, безъ возмущенія или отчаянія, глядѣть на заходящее солнце, если знать, что оно никогда больше не взойдетъ.

Онъ страстно любилъ жену и желалъ ее и хотя не встрѣчалъ отвѣтнаго желанія, не замѣчалъ этого, не хотѣлъ замѣтить, пока могъ закрывать глаза на реальныя, неодолимыя препятствія и наперекоръ себѣ, своему разуму и сознанію надѣялся на чудесное исчезновеніе ихъ.

Отчего бы сестра, прежде любившая и желавшая, какъ и онъ, перестала желать, продолжая любить и не отдаваясь другому?

Если бы перестала его любить, сблизившись съ другимъ, то ушла бы отъ него. А между тѣмъ она не уходила, хотя знала, что онъ бы ее отпустилъ.

Близость сестры съ другимъ могла имѣть значеніе лишь въ томъ случаѣ, если бы эта близость вызвала перемѣну въ чувствахъ сестры къ нему, къ мужу.

Пока сестра не уходила и ни о какой перемѣнѣ не говорила, онъ никакой перемѣны и не допускалъ.

Сказать правду сестра не рѣшалась, такъ какъ не считала себя вправѣ уйти, а откровенное признаніе должно было имѣть послѣдствіемъ разлуку.

Но, замалчивая истину, она боялась сознаться въ томъ, что измѣнилась къ мужу.

Если бы васъ не было и сестра охладѣла бы къ мужу, она можетъ быть созналась бы ему въ этомъ. Можетъ быть—не навѣрно.

Но въ данномъ случаѣ это было бы почти равносильно признанію въ любви и страсти къ вамъ.

И она молчала и покорялась.

Намъ, мужчинамъ, трудно себѣ представить, что значитъ отдаваться безъ желанія, а тѣмъ болѣе противъ желанія.

Отдаются мужчины только въ такъ называемой противоестественной любви.

Противоестественна ли она въ самомъ дѣлѣ—трудно сказать. Въ природѣ, среди животныхъ, она встрѣчается довольно часто. И если это не оправдываетъ ее для людей, то все же, какъ будто, говоритъ противъ аргумента „неестественности", выставляемаго обыкновенно ея противниками.

Для тѣхъ, кто убѣжденъ, что исключительная цѣль любви и обладанія—рожденіе, равнополая любовь, конечно, должна казаться нарушеніемъ естественнаго закона.

Для тѣхъ, кто въ любви видитъ стремленіе къ сліянію, символъ распада и единенія двухъ распавшихся половинъ—равнополая любовь не можетъ соотвѣтствовать своему назначенію и смыслу.

Доводы, которыми она оправдывается, весьма неубѣдительны.

Иногда говорятъ о большей красотѣ мужского тѣла сравнительно съ женскимъ.

Объ этомъ можно спорить. Абсолютнаго критерія здѣсь очевидно не установить. Но едва ли такой аргументъ можетъ имѣть значеніе.

Допустимъ, что мужское тѣло красивѣе женскаго. Но вѣдь не всякое. Сравнивая единицы, мы навѣрное найдемъ отдѣльныхъ женщинъ, которыя красивѣе отдѣльныхъ мужчинъ. Вѣдь не абсолютное мы любимъ, а относительное, единичное.

И развѣ тѣ, кто любятъ женщинъ, любятъ ихъ оттого, что онѣ красивѣе мужчинъ?

Вѣдь любятъ и некрасивыхъ.

Помимо чисто внѣшней красоты, почти осязаемой, помимо внутренней красоты, красоты духовной, есть еще какая-то

средняя, не совсѣмъ внѣшняя, не вполнѣ внутренняя, неосязаемая и неуловимая, но несомнѣнная даже въ некрасивыхъ женщинахъ и мужчинахъ.

Любимъ мы и за лицо, и за руки, и за глаза и за волосы, за общую гармонію обнаженнаго или облеченнаго одеждами тѣла; и никакихъ выводовъ изъ этого сдѣлать нельзя съ точки зрѣнія равнополой или разнополой любви.

Другой доводъ въ пользу первой—это свобода отъ природной необходимости зачатія и рожденія.

Но если ужъ имѣть въ виду практическую, реальную цѣль и ради нея предпочитать одно другому, то чѣмъ лучше любить мужчину вмѣсто того, чтобы принимать всѣмъ извѣстныя мѣры предосторожности и любить женщину? Правда, первое проще и вѣрнѣе. Но вѣдь это—чисто внѣшнее несущественное соображеніе. И оба приведенные довода настолько шатки и растяжимы, что съ успѣхомъ могутъ быть примѣнены и къ скотоложству и къ онанизму.

Не говоря о томъ, что если оправдывать равнополую любовь, то нельзя ограничиваться любовью между мужчинами и слѣдуетъ найти такіе аргументы, которые были бы примѣнимы и къ любви лесбійской.

А между тѣмъ утвержденіе большей красоты мужского тѣла направлено противъ послѣдней.

Насколько можно судить по фактамъ, равнополая любовь не основана на доводахъ разума, не вызывается сознательной волей человѣка, а чувственными, неподвластными ему влеченіями.

И хотя нельзя доказать не то, что ея превосходство надъ любовью разнополой, но даже ея цѣлесообразность и осмысленность, все же не слѣдовало бы ее осуждать, а тѣмъ менѣе карать за нее, во имя свободы любви и ея проявленій.

Если нѣтъ разумныхъ доводовъ въ ея пользу, то вѣдь ничѣмъ не доказывается и ея преступность.

Единственно несомнѣнное возраженіе противъ нея состоитъ въ указаніи на то, что она извращаетъ нормальную естественную роль мужчины и женщины. Мужчина активенъ въ любви; женщина—пассивна.

А между тѣмъ, въ любви между двумя мужчинами одинъ изъ нихъ обреченъ на пассивность; а въ любви между женщинами—одна изъ нихъ должна быть активной.

Въ строгомъ соотвѣтствіи съ міромъ, воспринимаемымъ какъ нѣчто цѣльное и въ себѣ законченное, должны мы представлять себѣ и человѣка.

И замѣчая въ этой цѣльности неоспоримые признаки невѣдомаго распада, несомнѣнное дробленіе единаго на двое, мы утверждаемъ существованіе двухъ началъ, двухъ основныхъ элементовъ, мужественнаго и женственнаго, сочетаніе которыхъ и стремленіе къ полному сліянію создаетъ и міръ съ его неизбѣжной трагедіей и отдѣльнаго человѣка, несущаго въ себѣ ту же трагедію.

Какъ въ мірѣ, взятомъ въ его цѣломъ, такъ и въ человѣчествѣ оба начала гармонично уравновѣшиваются.

Но въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ обыкновенно одно изъ нихъ преобладаетъ не только внутренно, но и внѣшне.

Въ мужчинѣ обычно преобладаетъ мужественное, въ женщинѣ—женственное начало.

Но бываетъ и наоборотъ. Случается, что въ мужчинѣ внутренно преобладаетъ женственное начало; а въ женщинѣ—мужественное.

Это вліяетъ не только на характеръ, на складъ ума и воли, но и на чувства и на чувственность.

Нарушается обычное притяженіе противоположныхъ половъ и мужчину привлекаютъ мужчины, а женщину—женщины. И результатомъ такого необычнаго притяженія, такого исключительнаго несоотвѣтствія между внѣшнимъ и внутреннимъ обликами отдѣльнаго человѣка—является равнополая любовь.

Это, пожалуй, свидѣтельствуетъ о неестественности, но во всякомъ случаѣ не о преступности подобной любви.

Трудно опредѣлить, много ли у нея приверженцевъ.

Но несомнѣнно, что кромѣ нихъ, нѣтъ мужчинъ, которые могли бы отдаваться помимо или противъ желанія. Это физически невозможно. Физическая любовь для мужчины невозможна безъ возбужденія. И даже въ томъ случаѣ, когда это возбужденіе вызвано искусственно, можетъ быть насильно, мужчина хотя бы на мигъ испытываетъ желаніе. За удовлетвореніемъ его послѣдуетъ, конечно, недовольство уныніе, отвращеніе. Но лишь за удовлетвореніемъ.

Женщина же можетъ отдаваться безъ желанія и, не послѣ, а во время физическаго акта любви ощущать тѣ же недовольство и отвращеніе.

По тому, что мы испытываемъ „послѣ“, мы должны судить о томъ, что она чувствуетъ „во время“.

И при одной мысли объ этомъ, меня пронизываетъ мелкая, холодная дрожь, и ужасъ, какъ невѣдомое и страшное чудовище, темными и безформенными лапами сжимаетъ сердце и сбившіяся въ кучу мысли.

Отношенія между сестрой и мужемъ запутывались все больше.

Не допуская мысли о перемѣнѣ въ чувствахъ сестры къ нему, онъ не могъ вполнѣ отдѣлаться отъ неяснаго ощущенія этой перемѣны.

И невольно, какъ это всегда бываетъ, дѣлалъ опыты, провѣрялъ ее и себя, и чѣмъ больше тайно сомнѣвался, тѣмъ былъ настойчивѣе и неуступчивѣе.

Искалъ ея ласкъ и ласкалъ ее не потому только, что чувственно ихъ жаждалъ, а чтобы реально утвердить и подтвердить свою близость съ сестрой.

Но все внѣшнее, реальное, — преходяще, существуетъ лишь на мигъ, исчезаетъ, оставляя только воспоминаніе, неубѣдительное, потому что бездоказательное и неосязаемое.

И чѣмъ упорнѣе основываться на внѣшнихъ проявленіяхъ, на жестахъ и поступкахъ, тѣмъ неизбѣжнѣе приходится искать ихъ повторенія, вновь и вновь, такъ какъ лишь оно убѣждаетъ несомнѣнностью того, что реально, физически, предметно, въ каждую данную, единственно вѣрную минуту жизни, совершается.

Сестра разгадала сложныя настроенія мужа съ той изощренной чуткостью насторожившейся души, которая подобна утонченному до послѣднихъ предѣловъ слуху въ тяжеломъ и страшномъ мракѣ полномъ угрозъ и опасностей.

Отдаваться безъ желанія было мучительно.

Но еще въ тысячу разъ мучительнѣе было отдаваться

съ сознаніемъ, что не простое стихійное влеченіе сближаетъ мужа съ ней, а затаенная мысль, притаившееся сомнѣніе, какъ дикій и свирѣпый звѣрь, выжидающій добычи.

Не однимъ только тѣломъ овладѣвалъ мужъ, но раскидывалъ сѣти, чтобы поймать ея душу.

И пока отдавалось покорное и безвольное тѣло, трепетала и порхала испуганная, какъ птица, душа, влекомая необъяснимымъ и отвратительнымъ притяженіемъ опасности, и отчаянной жаждой избавленія и спасенія.

Не было выхода, не предвидѣлось возможности положить конецъ тайной борьбѣ, такъ какъ нельзя было объясниться, довѣриться словамъ, раскрыть и обнажить души.

Мутное болото засасывало сестру и простерла она руки къ вамъ, стоявшему на берегу, и взывала о помощи въ неизбывной тоскѣ и неодолимомъ отчаяніи.

Вы склонялись къ ней и съ нѣмымъ и безсильнымъ ужасомъ прислушивались къ устрашающимъ и неожиданнымъ словамъ, которыя глухимъ и невольнымъ стономъ вырывались изъ наболѣвшей души, срывались съ дрожащихъ устъ.

„Я отдаюсь ему, какъ проститутка“.

Было ясное, солнечное утро.

Сухія и чистыя улицы расходились во всѣ стороны, перекрещивались и сплетались, открыто и привѣтливо указывали путь, не насилуя выбора, радостно утверждая свободу рѣшенія, ласково раскрывая всѣ возможности, широкой лентой разстилались подъ ногами, длинной оградой домовъ съ двухъ сторонъ охраняли отъ ненужныхъ ошибокъ невѣрныхъ направленій.

Чистые и нарядные въ стройные ряды вытягивались дома, слѣдя за прохожими, отражая голубое небо и бѣлые камни и блестящіе лучи солнца безчисленными стеклами

оконъ и дверей, точно громадными, квадратными, неподвижными и добродушно-прозрачными глазами.

Воздухъ былъ свѣжъ, легокъ и молодъ, точно ощущалъ свое тѣло, здоровое, юное и упругое, и, не двигаясь, наслаждался возможностью, подвластной его волѣ, вдругъ сорваться съ мѣста, закружиться вихремъ въ избыткѣ силъ или ринуться вдаль или ввысь съ мощной быстротой неукротимаго размаха.

И ту же свѣжесть, юность, упругость мышцъ и готовую къ напряженію и совершенію силу, ощущали люди и чувствовали вы.

Дышалось и думалось легко и радостно, и міръ казался роднымъ и близкимъ и дорогимъ, и жизнь была драгоцѣннымъ и благодатнымъ даромъ Божіимъ.

Сердце замирало въ сладкомъ томленіи любви безличной и свободной, и радостна была чужая радость и мила чужая улыбка.

Забывалось все, что давитъ, гнететъ, печалитъ, омрачаетъ душу и становилось далекимъ, недѣйствительнымъ, невозможнымъ, пока такъ ярко и побѣдно свѣтитъ солнце и такъ свѣтелъ, ясенъ и привѣтливъ міръ.

И пока ярко и побѣдно свѣтило солнце и привѣтливъ и ясенъ былъ міръ, какая-то человѣческая душа изнемогала въ мукахъ невыносимаго отчаянія и съ какихъ-то человѣческихъ устъ срывались ужасающія слова:.

„Я отдаюсь ему, какъ проститутка“.

Они поразили васъ, какъ мощный ударъ грома изъ безоблачнаго неба.

Вы оглянулись и увидѣли бездну, на краю которой стояли, не зная о томъ. Оступился вашъ спутникъ и, срываясь, вскрикнулъ, и замерло седрце въ вашей груди, и, точно вспуганная стая птицъ, вспорхнули и разлетѣлись мысли.

Но когда вы пришли въ себя, не примѣшалась ли къ скорби, страху и жалости тайная и робко скрывавшаяся радость за себя, за свою невредимость, за свою безопасность, и, неиспытываемое въ привычномъ, будничномъ ходѣ жизни, сладкое ощущеніе собственнаго благополучія?

Одно, конечно, не мѣшало другому. Вы искренно и внимательно отнеслись къ мученіямъ сестры, и хотя помочь не могли, но утѣшить или, по крайней мѣрѣ, успокоить—старались.

Совѣты ваши не были лишены практичности, такъ какъ вы подходили къ вопросу съ чисто житейской точки зрѣнія и указывали сестрѣ на возможность, хотя бы и не сразу и не вполнѣ, оградить себя отъ продолженія и повторенія невыносимой муки.

Ваше участіе было отрадно сестрѣ, а ваши совѣты ярко показали ей, что вы безсильны ей помочь, что она не въ состояніи измѣнить существующее, ввести васъ въ него, сдѣлать васъ причастнымъ ея терзаніямъ и облегчить свою ношу, взваливъ часть ея на ваши плечи.

Она поняла, что каждый человѣкъ принужденъ самъ для себя, одиноко, разбираться во всемъ, чѣмъ живетъ, даже въ томъ, что касается его отношеній къ другому, и что самый близкій ему человѣкъ—не ближе, чѣмъ всѣ чужіе, когда дѣло идетъ не о близости съ нимъ, а объ отношеніяхъ къ другимъ людямъ.

И она покорилась этой неодолимой необходимости, покорилась не однимъ лишь тѣломъ, какъ раньше, но и душой, возмутившейся и побѣжденой.

Жизнь снова потекла размѣренной струей, то слегка замедленной, то немного ускоренной, по чуть замѣтному наклону времени, безъ запрудъ и внезапныхъ и бурныхъ стремнинъ.

Такъ вы прошли мимо и этого вопроса, не разрѣшивъ его даже для себя и не замѣтивъ его общаго значенія и глубокой важности.

Трагедія сестры не навела васъ на мысль о связи ея съ тѣмъ общественнымъ явленіемъ повсемѣстной и общепризнанной проституціи, отъ котораго мы безпомощно отмахиваемся грубой палкой нравственнаго осужденія.

Мы считаемъ его зломъ и, осуждая его, примиряемся съ нимъ, какъ примиряемся со всѣмъ, что считаемъ зломъ и чего одолѣть ни разумомъ, ни волей не умѣемъ.

И поэтому живемъ во злѣ, въ развратѣ, въ грѣхѣ и, слѣдовательно, въ уродствѣ, погружаясь въ него или сторонясь, но не побѣждая и неизмѣнно участвуя въ немъ дѣйствіемъ или попустительствомъ.

Какъ въ основу всей человѣческой жизни должны быть помѣщены любовь и полъ, не только потому, что ими творится жизнь и безъ нихъ ея не было бы вовсе, но и потому еще, что на нихъ и вокругъ нихъ держатся и разрослись всѣ формы человѣческаго существованія, и съ ними неразрывно связаны всѣ вопросы измѣнчиваго быта и неизмѣннаго бытія, такъ въ основу человѣческихъ отношеній и всякаго установившагося общественаго строя въ настоящее время должна быть положена проституція.

Проституція не въ узкомъ смыслѣ продажной любви, а въ широкомъ и общемъ значеніи торговли собою, своими способностями, силою, умомъ и душой, мыслями, чувствами и поступками.

Я при этомъ не касаюсь вопроса, кто и какую роль играетъ при созиданіи общественнаго и государственнаго строя, выросъ ли послѣдній изъ семьи, т. е. при участіи женщинъ или изъ первоначальнаго общенія однихъ только мужчинъ, какъ это утверждаютъ и доказываютъ нѣкоторые современные этнологи.

Проституція, не въ смыслѣ продажной любви, а въ общемъ и широкомъ значеніи слова какъ будто свидѣтельствуетъ объ участіи женщины въ прежнемъ строительствѣ, женщины или по крайней мѣрѣ женскаго начала, хотя это участіе и могло ограничиться очень незначительной долей— не активнаго вмѣшательства, а пассивнаго вліянія.

Всякое общественное устройство обусловлено взаимной зависимостью людей, связуетъ ихъ необходимостью служенія, заставляетъ человѣка видѣть въ себѣ самомъ средство для достиженія того, безъ чего онъ не можетъ или не хочетъ обойтись, и въ другихъ видѣть такія же средства.

Потребности есть у каждаго. Но ни у кого нѣтъ возможности самостоятельно и независимо удовлетворить ихъ.

Лишь тотъ, кто производитъ реальныя жизненныя цѣнности, могъ бы не проституировать себя, обмѣнивая ихъ излишекъ на то, чего ему недостаетъ, если бы сложная спутанность интересовъ и отношеній разрѣшалась простымъ удовлетвореніемъ простыхъ житейскихъ потребностей и не заставляла его нуждаться въ томъ, чего нельзя добыть различными предметами или ихъ общимъ и единымъ посредникомъ—деньгами.

Конечно, богатство даетъ и уваженіе, и внѣшнія отличія, и власть, и даже нѣкоторую независимость. И все таки не освобождаетъ человѣка отъ общественнаго принужденія, заставляетъ его цѣной личныхъ уступокъ и жертвъ, собственнымъ признаніемъ этого принужденія и покорностью

ему, покупать право на существованіе въ лонѣ общества и на пользованіе его удобствами, опекой и защитой.

Не все это можно получить за деньги. Значительная часть этихъ благъ дается лишь какъ отплата человѣку за то, что онъ самъ собой, своею личностью, своимъ отдѣльнымъ и чужимъ для другихъ „я“, послужилъ другимъ, вступилъ въ обмѣнъ съ ними, участвуетъ въ безконечномъ хороводѣ, не нарушая его сочетаній и движеній, и согласился быть однимъ изъ его звеньевъ ради поддержки и опоры, которыя найдетъ въ остальныхъ.

Такъ продаетъ себя человѣкъ незамѣтно для себя и для другихъ.

И, не замѣчая этого, уменьшаетъ свое униженіе и уродство своей жизни, такъ какъ остается непровѣренная возможность отказа отъ нихъ и преодолѣнія ихъ, когда онъ постигнетъ ихъ и увидитъ.

Уродливѣе и унизительнѣе проституція тѣхъ, кто принужденъ или безъ нужды согласился за реальныя и необходимыя, не коллективныя, а личныя, блага жизни отдавать свой трудъ, свою силу, свои умственныя способности.

Иногда не измѣняетъ при этомъ человѣкъ своимъ наклонностямъ и убѣжденіямъ.

Иногда приходится ему жертвовать ими ради сохраненія своего заработка и положенія.

Въ обоихъ случаяхъ онъ продаетъ себя, какъ человѣка. Но въ первомъ, продавая, не предаетъ; а во второмъ — отрекается отъ себя ради собственной выгоды и въ угоду другимъ.

Продажная любовь является лишь одной изъ многочисленныхъ формъ проституціи, но не только заслонила всѣ

другія, а даже заняла ихъ мѣсто и воздвиглась на немъ, точно единственное и полное ихъ выраженіе.

Произошло это, вѣроятно, вслѣдствіе того, что остальныя формы проституціи отчасти совершенно неизбѣжны во всякомъ устроенномъ обществѣ, отчасти почти необходимы и во всякомъ случаѣ слишкомъ обычны и распространенны, чтобы можно было ихъ не признавать, отказываться отъ нихъ и поэтому осуждать.

Необходимость и привычка лучшіе и самые дѣйствительные аргументы, въ особенности, когда нѣтъ никого, кто рѣшился бы ихъ оспаривать.

А кто станетъ оспаривать то, чѣмъ самъ живетъ, даже когда увидитъ отрицательную сторону своего существованія, если только не сочтетъ возможнымъ для себя порвать со всѣми условіями установившейся жизни и со всѣми людьми, которые удовлетворяются этими условіями?

Выходитъ какъ будто, что нѣтъ выбора и человѣкъ не имѣетъ возможности принимать или отвергать неизбѣжное послѣдствіе разъ навсегда признаннаго положенія.

Если воля не свободна, то осужденіе неумѣстно и даже безсмысленно.

А въ продажной любви воля, если не всегда свободнѣе, чѣмъ въ другихъ формахъ проституціи, то, по крайней мѣрѣ, во многихъ случаяхъ не связана ничѣмъ неотвратимымъ, и неизмѣнно кажется свободной.

Эта кажущаяся свобода обусловливаетъ собою возможность осужденія. А самое осужденіе вызывается двумя мотивами: явнымъ—отрицательнымъ отношеніемъ къ физической любви, и тайнымъ—полусознаваемымъ отвращеніемъ къ тому, чѣмъ продажная любовь по существу своему уродливѣе и унизительнѣе другихъ формъ проституціи.

Эти два мотива, явный, общепризнанный, и тайный, не-

познанный, не ко всякому случаю равно примѣнимы, и этимъ доказывается, что люди смѣшиваютъ различныя явленія, въ которыхъ не даютъ себѣ труда разобраться.

О томъ, что отрицаніе физической любви основано на заблужденіи и по существу ничѣмъ не оправдывается, я уже говорилъ не разъ.

Съ точки зрѣнія быта, условій житейскихъ, оно не только объясняется съ достаточной очевидностью, но даже до извѣстной степени находитъ себѣ оправданіе.

Въ опредѣленныхъ общественныхъ формахъ, нуждающихся въ устойчивости, приходится ограничивать всѣ внѣшнія проявленія человѣческихъ чувствъ, мыслей, ощущеній и хотѣній. Не самыя чувства, мысли и стремленія, которыхъ нельзя ограничить и которыя неопасны, пока реально, житейски, не проявились, а только ихъ проявленія, нарушающія относительную упорядоченность сложныхъ и переплетающихся отношеній людскихъ.

Всякое зданіе общественности возведено на фундаментѣ семьи и собственности, и всѣ матеріальные интересы людей разграничиваются исключительно съ помощью этихъ двухъ неразрывно связанныхъ основныхъ нормъ.

Любовь, какъ чувство, не поддается ни разграниченію, ни ограниченію, такъ какъ не входитъ въ область матеріальныхъ измѣреній.

Но любовь физическая находится въ плоскости быта и не только непосредственными проявленіями, но и послѣдствіями ихъ, вноситъ разладъ и путаницу, утверждаетъ себя конкретно и занимаетъ реальное мѣсто въ ограниченномъ пространствѣ человѣческихъ отношеній и правообязанностей.

Ограниченность этого пространства не допускаетъ свободы и произвольнаго захвата и заставляетъ людей обста-

влять извѣстными, строго опредѣленными формальностями тѣ внѣшнія проявленія ихъ чувства, воли и разума, за которыми они хотятъ укрѣпить обычныя права, поручая ихъ защиту обществу въ лицѣ его законныхъ представителей.

Помимо слѣпо принимаемыхъ нормъ религіозной морали, которыя, вѣроятно, имѣли тотъ же источникъ, отрицательное отношеніе къ физической любви было вызвано предыдущими соображеніями и общечеловѣческимъ чувствомъ вражды ко всему, что неудобно, мѣшаетъ, причиняетъ заботы, пугаетъ вѣчной угрозой опасности, нарушаетъ покой и разстраиваетъ съ трудомъ установленный порядокъ.

—

Такимъ неспокойнымъ и неудобнымъ элементомъ всегда была физическая любовь, внѣшнее реальное проявленіе любви, связанное съ рожденіемъ, творящее жизнь, создающее людей, т.-е. новыхъ членовъ общества, которые займутъ въ немъ реальное мѣсто и заявятъ реальныя права свои наряду съ остальными его членами.

Не говоря о томъ, что реальными проявленіями своими любовь врывается въ уже установленныя, точно вымѣренныя чужія владѣнія, не считаясь съ межами и оградами, обманываетъ всѣ надежды, спутываетъ всѣ расчеты, нарушаетъ законные интересы и неожиданнымъ и нежеланнымъ вмѣшательствомъ вызываетъ недовольство, вражду, столкновенія и преступленія.

Чтобы справиться съ этимъ вѣчнымъ бунтаремъ, надо было его развѣнчать, унизить, загрязнить, изуродовать и загнать въ подполье.

Но изуродовать и унизить можно было не прямо, а лишь косвенно, не его сдѣлавъ уродливымъ, а пріучивъ людей видѣть его такимъ.

Религіозная мораль съ успѣхомъ выполнила эту нелегкую задачу.

Но хотя люди повѣрили ея утвержденіямъ и наставленіямъ, хотя привыкли осуждать физическую любовь, хотя дѣйствительно загнали ее въ подполье, но ни унижая ее, ни осуждая, не могли уничтожить, ни даже преодолѣть.

Этому мѣшала не только необходимость зачатія и рожденія, посредствомъ которыхъ осмысливается существованіе самого общества и отдѣльныхъ людей, принявшихъ даръ жизни, чтобы передать его дальше, но и признаніе этой необходимости и освященіе ея законами общественными, требующими лишь соблюденія извѣстныхъ формальностей, въ предѣлахъ которыхъ физической любви даровалась свобода, какъ звѣрю, заключенному въ клѣтку, не возбраняется за желѣзной рѣшеткой двигаться, ѣсть, пить, спать, удовлетворять свои естественныя потребности, изъ которыхъ не менѣе другихъ важна, однако, потребность свободы, не находящая удовлетворенія.

Но общество не можетъ допустить звѣрей въ свою среду, если не въ состояніи ихъ обезвредить.

И обезвреженная физическая любовь, ставъ домашнимъ животнымъ, была допущена вмѣстѣ съ ними къ людямъ. А необезвреженная, дикая, загнанная въ подполье, таится по трущобамъ, и въ грязи и мракѣ щелкаетъ зубами поджидая жертвъ.

Это положеніе загнаннаго звѣря, таящагося, блудливаго и вѣчно голоднаго, создало продажную любовь, такъ какъ спросъ всегда вызываетъ предложеніе.

Уйдя въ подполье къ отвергнутому звѣрю физической любви, проституція сама стала отверженной, сдѣлалась загнаннымъ и дикимъ звѣремъ, тѣмъ болѣе дикимъ, чѣмъ его больше преслѣдовали и ущемляли, тѣмъ болѣе дерзкимъ, наглымъ и вызывающимъ, чѣмъ больше покорялся ей, непокорившійся обществу, звѣрь похоти.

И предложеніе, какъ это часто бываетъ, стало возбуждать спросъ.

Физическая любовь вызвала любовь продажную и заключила съ ней союзъ. И отрицательное отношеніе къ первой естественно перекинулось и на вторую.

Это отношеніе было только внѣшнимъ и являлось послѣдствіемъ чисто внѣшнихъ причинъ.

По существу же продажная любовь уродливѣе и презрѣннѣе другихъ формъ проституціи оттого, что она — оскверненіе страсти, поддѣлка любви, фальшивая страсть и поддѣльная любовь, какъ бываютъ фальшивыя драгоцѣнности и поддѣльные камни.

Продажная любовь — обманъ и ложь, притворяющіеся правдой, пьеса, разыгрываемая то плохими, то хорошими актерами, но которымъ платятъ не за то, что они играютъ, а за то, что играя, они увѣряютъ зрителей и другъ друга, что это не пьеса, а сама жизнь, и что они не играютъ, а живутъ дѣйствительной, настоящей жизнью, и увѣряютъ въ этомъ не для того, чтобы измѣнить то, что есть, а чтобы подобіемъ истины сдѣлать истину ненужной.

Въ остальныхъ формахъ проституціи этого обыкновенно нѣтъ.

Тамъ человѣкъ продаетъ себя, но, продавая, живетъ дѣйствительной жизнью, а не ея подражаніемъ, живетъ тою же жизнью, которою жилъ бы, если бы не былъ принужденъ продавать себя, чтобы ею жить.

Если бы продажная любовь ограничивалась продажей тѣла, она бы не была такой уродливой. Но физическая любовь неотдѣлима отъ любви — чувства. И проститутка, которая отдавала бы свое тѣло, не притворяясь чувственно возбужденной и для этого влюбленной, умерла бы отъ голода, ненужная никому, всѣми оставленная и забытая.

Даже возбужденное и давно неудовлетворенное чувственное желаніе требуетъ по крайней мѣрѣ иллюзіи встрѣчной

любви. Эту иллюзію приходится создавать и поддерживать уродливой и лживой игрой, жалкимъ подражаніемъ, недостойной и унизительной пародіей чего-то истинно прекраснаго, цѣннаго и благостнаго.

Съ точки зрѣнія внѣшняго отношенія общества къ продажной любви послѣдняя имѣетъ право не признавать его осужденія, возставать противъ него и надменно заявлять устами одной изъ безчисленныхъ своихъ жрицъ: c'est mon métier et j'en suis fière.

Ибо, продавая свое тѣло, чѣмъ она хуже тѣхъ, кто продаетъ свою душу?

Честность во всякой сдѣлкѣ обусловливается сутью и предѣлами данной сдѣлки. И въ этомъ смыслѣ не только нѣтъ глупаго ремесла, но нѣтъ и презрѣннаго.

А если презрѣнно, то, что безнравственно, и поэтому осуждается профессія вора или убійцы, то обыкновенно, лишь съ точки зрѣнія законовъ общественныхъ, т.-е. относительной, а не абсолютной морали.

Эта относительность сказывается въ томъ, что законъ нерѣдко принужденъ покровительствовать, наперекоръ себѣ самому, явленіямъ отрицательнымъ и такимъ образомъ, напримѣръ, допускаетъ убійство на войнѣ или казни, и ради практической выгоды наименьшей опасности взялъ подъ свою опеку, чтобъ имѣть ее въ своей власти, и продажную любовь.

Но однажды узаконенная, она уже не противозаконна, и этическая оцѣнка, лишившись опоры закона, потеряла послѣднюю пядь почвы подъ ногами.

И лишь освѣщая продажную любовь по существу, обнаруживъ ея непристойную ложь и отвратительный обманъ ея кривляній, можно осудить и отвергнуть ее, не боясь возраженій, не страшась ошибокъ пристрастной несправедливости.

Но этотъ единственно вѣрный доводъ противъ нея, не совпадаетъ съ отрицаніемъ и осужденіемъ физической любви и отвергая ихъ неразборчивыя обобщенія, противополагаетъ оправданіе осужденію и утвержденье—отрицанію.

Сама по себѣ физическая любовь съ точки зрѣнія этого довода безразлична.

И женщина, которая свободно слѣдуетъ позывамъ чувственности, имъ не осуждается.

Сбиваетъ съ толку внѣшнее, видимое сходство положеній, и развратъ смѣшивается съ проституціей.

Между тѣмъ въ послѣдней слѣдовало бы различать проституцію отдающихся за плату и развратъ покупающихъ чувственное удовлетвореніе.

Проститутка можетъ быть развратной; мужчина, покупающій ея ласки, не можетъ не быть развратнымъ, хотя бы на одинъ разъ и въ видѣ исключенія.

Развратъ—не въ физической любви, а въ томъ особомъ отношеніи къ ней, которое заставляетъ людей видѣть въ ней только пріятное времяпрепровожденіе, развлеченіе и забаву.

Такъ же развратны: исканіе пріятныхъ ощущеній въ ѣдѣ и питьѣ; жажда увеселеній, сгоняющая толпу въ театры и шантаны; погоня за щекочущими нервы и воображеніе эстетическими и мистическими впечатлѣніями, создающая культъ красоты, безцѣльной и безсмысленной, въ самой себѣ замкнутой, и странное сочетаніе невѣрія, отрицающаго обряды, съ наслажденіемъ обстановкою и атмосферой церковныхъ служеній.

Развратно отношеніе человѣка къ чему бы то ни было, когда онъ нарушаетъ необходимую связь, опрокидываетъ основы, отвергаетъ разумную цѣлесообразность и вмѣстѣ съ нею полноту и цѣльность бытія, и воздвигаетъ умерщ-

вленный и безсмысленный въ своей оторванности бытъ, поклоняясь ему, какъ безобразному, имъ самимъ сотворенному, безсильному и лживому идолу, которому приписываетъ абсолютное значеніе и самодовлѣющій смыслъ.

Развратенъ нагой эстетизмъ, не видящій въ красотѣ символа вѣчной Божественной гармоніи и беззаботно нарушающій ее во имя мгновеннаго, измѣнчиваго и безсмысленнаго впечатлѣнія красоты.

Развратна голая мистика, утверждающая себя какъ средство для мгновенныхъ и пріятныхъ ощущеній, и не признающая того, что она таинственная нить, связующая вѣчное съ временнымъ.

Развратна обнаженная страсть, которая знаетъ только физическое наслажденіе томительныхъ ласкъ и краткаго обладанія, принимается только ради нихъ и въ нихъ исчерпываетъ свое содержаніе и свой смыслъ.

Воплощается ли такая страсть въ реальной жизни или въ искусствѣ — она одинаково безобразна, равно унижаетъ человѣка утверждающаго ее или любующагося ею.

Если порывать связь между любовью и вѣчностью, если не видѣть въ ней таинственнаго знака Божества, если отрицать равноцѣнность любви и страсти и ихъ необходимую гармонію, если утверждать только чувственность, не думая о чувствѣ, то любовь ставится на одну доску съ другими физическими потребностями человѣка.

Утоляется голодъ и это пріятно; утоляется жажда и это отрадно; утоляется потребность отдыха и сонъ—блаженство; утоляется чувственность—и это наслажденіе.

Но все это продѣлываютъ и животныя, ни въ чемъ не ища смысла, а покорно и просто подчиняясь своимъ побужденіямъ.

Если человѣка считать животнымъ, то такой образъ дѣйствій вполнѣ логиченъ. Но ради оправданія своихъ поступковъ нельзя же утверждать завѣдомо неправду.

И тѣломъ и душой человѣкъ повидимому подобенъ прочимъ тварямъ.

Но отличается отъ нихъ, превосходитъ ихъ, духомъ, разумомъ, сознаніемъ, отдѣляющимъ бытіе отъ быта, время отъ вѣчности, твореніе отъ Божества, каждое личное „я“ отъ всѣхъ другихъ и возстановляющимъ по иному, по новому, по своему, иную, новую связь.

Если смѣшивать понятія „духъ“ и „душа“, какъ это, обыкновенно, дѣлается, если ихъ сливать, то нужно помнить, что въ душѣ человѣческой есть одна таинственная способность, сила и дѣятельность которой обнаруживаются съ несомнѣнной очевидностью съ первыхъ же дѣтскихъ шаговъ, въ самыхъ дикихъ и некультурныхъ, первобытныхъ людяхъ, и что ничего подобнаго мы никогда не встрѣчаемъ и не замѣчали въ самыхъ умныхъ животныхъ.

Тѣ, кто утверждаютъ плоть и полъ, правы, утверждая ихъ. Но правы лишь въ томъ случаѣ, если они одновременно утверждаютъ и душу и духъ; не только чувственность, но и чувство, но и сознаніе обоихъ. Сознаніе же не удовлетворяется бытомъ, а утверждаетъ бытіе.

И довольствоваться тѣмъ легкимъ, беззаботнымъ и слѣпымъ отношеніемъ къ жизни, которымъ отмѣтило себя придворное общество до-революціонной Франціи, значитъ не только отвергать свою душу, все таки участвующую въ жизни, несмотря ни на какія отрицанія, но и разумъ, высшее сознаніе человѣческое, т.-е. принимать лишь мгновеніе, лишь преходящій, неуловимый и неудержимый мигъ, умирая съ каждымъ часомъ, съ каждой минутой, не освящая своего существованія вѣчнымъ и вѣчно реальнымъ бытіемъ, уподобляя себя звѣрю, который не знаетъ ни прошлаго, ни грядущаго, обезцѣнивать и то, чѣмъ живешь, и то, чѣмъ не живешь, и себя самого, и весь міръ.

За мгновеніе нельзя ухватиться: оно текуче, какъ вода.

И признавая лишь его, лишь смѣну чередующихся мгно-

веній, теряетъ человѣкъ себя самого, утрачиваетъ свою внутреннюю цѣльность, видитъ только смѣняющіяся и чередующіяся съ мгновеніями различныя и чуждыя другъ другу „я“ въ себѣ самомъ, и утверждая себя на каждый данный мигъ, отрицаетъ себя съ каждымъ прошлымъ и для каждаго грядущаго, и такимъ образомъ, никогда вполнѣ себя не утверждаетъ, а постоянно и неизбѣжно отрицаетъ.

Все его отношеніе къ жизни, вся его жизнь становится безцѣльной и ненужной игрой, можетъ быть на мигъ занятной, но неизмѣнно и неизбѣжно надоѣдливой, какъ все, что ненужно и безцѣльно, какъ всякая игра, потому что она по существу своему есть нѣчто, лишенное внутренняго оправданія и смысла.

Все, что служитъ только для развлеченія, пріѣдается, становится скучнымъ, противнымъ, отвергается, забывается.

Затѣмъ, по прошествіи нѣкотораго времени, когда новыя игры въ свою очередь пріѣлись и были заброшены, въ минуту досуга, скуки и тоски, случайно наталкивается человѣкъ, разбирая старый хламъ, на старую игру и хватается за нее, чтобы только чѣмъ-нибудь развлечься и на мигъ искусственно заполнить свое пустое существованіе.

Такъ случилось съ безсмысленной и жалкой игрой въ любовь, забытой и затерянной въ хламѣ XVIII вѣка, которую откопали и какъ нѣчто новое и значительное вынесли на свѣтъ Божій и стараются распространить и восхваляютъ теперь.

Людямъ иногда кажется, что ихъ неудовлетворенность жизнью и неумѣніе ею наслаждаться, вызваны вѣчными и мучительными исканіями разума, насторожившагося и напряженнаго сознанія, которыя мѣшаютъ цѣльности и полнотѣ непосредственныхъ переживаній.

Они заблуждаются.

Не умѣютъ люди жить не отъ того, что столкнулись съ неразрѣшимыми вопросами бытія.

Полнота жизни и въ непосредственныхъ переживаніяхъ физическихъ и душевныхъ, и въ сознательныхъ переживаніяхъ разума, связующаго ихъ.

Примирить и согласовать его съ ними они еще не научились и этимъ объясняется терзающій и ослабляющій ихъ разладъ.

Предъ ними открываются два пути: отъ непосредственности къ сознательности или черезъ сознательность къ непосредственности; чрезъ свое сознаніе—къ міру или чрезъ міръ—къ познанію своей личности. Другихъ нѣтъ; и непреложная истинность обоихъ не умаляется тѣмъ, что не видятъ ихъ люди и сбиваются съ нихъ.

Сбиваются равно и тѣ, кто отвергаютъ жизнь и совершеніе, путаясь въ сложныхъ противорѣчіяхъ пытливаго ума, и тѣ, кто отрицаютъ исканія мысли и живутъ мгновеніемъ, оторваннымъ отъ всего остального, точно нѣсколькими нотами выхваченными изъ пѣсни, которой они не желаютъ знать, и оттого безсмысленными, ненужными, нудными, и отъ назойливаго преслѣдованія которыхъ становится тяжело и мучительно на душѣ.

Умѣть жить не значитъ искать наслажденій.

Кто ищетъ наслажденій, тотъ не умѣетъ жить, не знаетъ цѣны жизни, не любитъ ея, а жаждетъ ихъ для того, чтобы помириться съ жизнью, сдѣлать ее пріемлемой для себя, заглушить и затемнить ея кажущійся ужасъ и мнимое уродство.

Умѣетъ жить лишь тотъ, кто любитъ жизнь во всѣхъ ея мельчайшихъ проявленіяхъ, во всей ея полной и широкой гармоніи, и себя любитъ въ мельчайшихъ движеніяхъ и ощущеніяхъ и въ той же цѣлостной и полной гармоніи, и такими же любитъ всѣхъ людей и весь міръ. Не все равно,

принимать ли жизнь за тѣ наслажденія, которыя она даруетъ, т.-е. въ сущности принимать только эти наслажденья, отвергая все остальное, или любить жизнь, всю, цѣликомъ, и въ радостяхъ, и въ скорбяхъ, и въ наслажденіяхъ, и въ терзаніяхъ, принимая ихъ потому, что жизнь прекрасна и мила, — а не потому только принимая жизнь, что то или другое въ ней мило и пріятно.

Ни совершенія, ни исканія, ни наслажденія, ни мучительные вопросы тогда не мѣшаютъ и въ примиренной благости противорѣчивой и все же согласной гармоніи переплетаются они, сочетаются и сливаются „разногласьемъ волнъ согласныхъ межъ собою".

Всякій поступокъ, помимо своего реальнаго, внѣшняго и опредѣленнаго облика, имѣетъ еще другой, измѣнчивый и колеблющійся, зависящій отъ того, какъ и почему, съ какимъ настроеніемъ и ради чего онъ былъ совершенъ.

Физической любви предаются и предавались и проститутка, и Мессалина, и дѣвушка, во имя Мелитты или Афродиты когда-то отдававшая свое дѣвство.

Первая вовсе не знаетъ и не цѣнитъ сладострастія.

Вторая наслаждалась имъ безвольно и слѣпо, какъ всякій звѣрь, безвольно и слѣпо повинующійся глухому инстинкту, подчинившему его себѣ.

Третья освящала его наивной вѣрой, искреннимъ заблужденіемъ робкаго и затемненнаго ума, но не извѣдала его блаженства.

Ни одна изъ нихъ не возвысилась до красоты свободнаго признанія, не сумѣла связать физическаго наслажденія, непроизвольнаго и преходящаго, съ познаніемъ красоты его, продолжающимъ его въ безконечной длительности, съ умиленнымъ чувствомъ благоговѣйнаго восторга, объединяющаго человѣка со вселенной, превращающаго непроизволь-

ное, преходящее и безсмысленное въ глубокое, непостижимое и все же несомнѣнное таинство, въ которомъ незримо и необъяснимо соприкасаются вѣчность и мгновеніе, случайное и необходимое, безсмысленное и разумное, земное и небесное, человѣкъ и Божество.

Но были и такія. И если бы ихъ даже не было, то можно было бы ихъ вообразить.

И если строгая мораль и догматики узкой добродѣтели не могутъ не осудить восторженныхъ поклонниковъ красоты физической и красоты въ страсти, то для всякаго, кто умѣетъ отрѣшиться отъ исключительности и нетерпимости обиходной добродѣтели, такое поклоненіе не будетъ казаться ни преувеличеннымъ, ни возмутительнымъ.

Тысячу разъ говорилось и тысячи разъ будутъ говорить о томъ, что чувство, уложенное въ рамки какихъ бы то ни было требованій, теряетъ часть своей обаятельности и силы.

Приходится съ этимъ мириться во имя общественности.

Но излишнимъ и несправедливымъ было бы обрушиться на тѣхъ, кто, подвергаясь осужденію и отчужденію общества, предпочли свободный культъ въ непризнанной формѣ, законному и одобренному рабству.

Уже въ древности съ оттѣнкомъ пренебреженія и осужденія относились къ женщинѣ, которая измѣняла обычному, строю жизни, порядку, установленному для нея, формамъ, къ которымъ она была пріурочена.

Тѣ, которыя мѣняли семейный очагъ и однообразіе брачныхъ узъ на свободное служеніе страсти, именовались у грековъ „другими женщинами“, какъ теперь мы говоримъ „эти дамы“ или „эти женщины“.

Жены, сестры и дочери въ семейныхъ домахъ были „настоящими“ женщинами, такими, какими онѣ должны были быть въ благоустроенномъ и упорядоченномъ обществѣ.

Всѣ остальныя были „другія“, гетеры — ἑταῖραι.

Но неизбѣжная уступка общественности имѣетъ границы.

Если женщина выше другихъ по умственнымъ и физическимъ даннымъ, если она не можетъ смириться и покориться, и готова стать внѣ общества и нести осужденіе „порядочныхъ женщинъ“ ради свободнаго служенія тому, что ей кажется прекраснымъ, если она дѣйствительно живетъ въ красотѣ, чуждая грязи, порочности и униженію корыстолюбиваго расчета, она достойна поклоненія и славы, которой до сихъ поръ окружены имена Аспазіи, Таисы, Нинонъ де Ленкло, Имперіи.

Умъ, красота, роскошь, повышенная духовная жизнь среди выдающихся современниковъ,—этому можно завидовать, этого можно чуждаться, но бросать камнемъ въ это нельзя.

Нужно, наконецъ, понять, что добродѣтель общественная не есть добродѣтель вообще, а нѣчто весьма условное и измѣнчивое, необходимое, какъ опредѣленная въ каждую данную эпоху норма, соблюденіе которой общество должно требовать, но нарушеніе которой, осуждая его, допускаетъ.

Нужно понять, что общество допускаетъ, такъ какъ не можетъ ее уничтожить, проституцію. и что проститутка далеко не то же самое, что куртизанка.

Первая воплотила въ себѣ все, что неприглядно и возмутительно, явилась олицетвореніемъ изнанки, и чуждая всякой красоты, только уродлива, опасна и омерзительна.

А между тѣмъ, находясь внѣ общества, она какъ бы входитъ въ него, подчиняясь правиламъ и нормамъ, создаваемымъ имъ для нея, и становится признаннымъ, хотя и презираемымъ, членомъ его.

А что стоитъ осужденіе при такихъ условіяхъ?

Нравственное осужденіе, молчаливое и само въ себѣ удовлетворенное, пусть останется единственнымъ орудіемъ общества противъ тѣхъ, кого оно несправедливо и невѣрно пріобщаетъ къ проституткамъ.

Дѣло не въ томъ, есть ли теперь куртизанки или ихъ нѣтъ.

Важно, какъ и всегда, отношеніе къ чему-нибудь, въ настоящемъ или даже въ прошломъ.

И если многіе находятъ, что по существу и куртизанка, и проститутка дѣлаютъ то же самое, то они забываютъ, что менѣе важно то, что дѣлается, чѣмъ то, какъ оно дѣлается.

Они забываютъ, или не умѣютъ замѣтить, что не всякая свободная любовь развратна, что женщина можетъ жить свободной любовью и не служить деньгамъ или корысти, не быть ни грязной, ни уродливой, не торговать собою.

Куртизанка, достойная и удостоившаяся вниманія историка и памяти потомства, являющаяся послѣдующимъ вѣкамъ въ ореолѣ славы и красоты, можетъ быть не отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ строгой общественной нравственности, но ничѣмъ и ни въ чемъ не оказалась предательницей передъ лицомъ любви и красоты жизни. Она искала свободы не только для чувственности, но и для чувства. И сознаніемъ цѣнила и берегла эту свободу.

И утвержденіе физической любви, какъ бы выдѣляющее ее и возносящее, оправдывается тѣмъ, что она до сихъ поръ отрицалась и унижалась, и приходится возстановить нарушенное равновѣсіе.

Но это утвержденіе не должно быть исключительнымъ и и противорѣчитъ себѣ, когда превращаетъ страсть изъ раба въ неограниченнаго тирана.

Отрицательное отношеніе къ продажной любви, поскольку оно вызывается условіями и требованіями общественными, должно вести къ осужденію не только ея, но и разврата и всякаго свободнаго проявленія страсти.

Если же разбирать эти явленія по существу, то осудить

можно будетъ лишь продажную любовь и развратъ, но отнюдь не всякое проявленіе чувственныхъ влеченій.

При этомъ продажная любовь будетъ отнесена къ категоріи проституціи вообще и займетъ мѣсто въ ряду остальныхъ ея формъ, хотя и признанныхъ обществомъ, но этимъ признаніемъ не оправданныхъ; а понятіе разврата обхватитъ не только любовь платную, но и всѣ случаи физической любви, когда она утверждается какъ нѣчто самодовлѣющее, самоцѣльное, пріятное, и лишь соотвѣтственно доставляемому ею наслажденію—значительное.

Но прочно и точно обосновавъ свое осужденіе, мы не вправѣ забывать, что это осужденіе относится только къ общимъ понятіямъ проституціи и разврата, которыя въ чистомъ видѣ лишь мыслятся, но рѣдко соотвѣтствуютъ жизненнымъ явленіямъ.

Поэтому къ отдѣльнымъ случаямъ, къ каждому отдѣльному случаю, надо подходить съ большой осторожностью и осмотрительностью и не бояться противорѣчивыхъ сочетаній осужденія и оправданія, которыя мѣшаютъ опредѣленной ясности пониманія и рѣшенія, но за то столкновеніемъ своимъ рождаютъ искры, мгновенно озаряющія темныя бездны человѣческихъ душъ и въ нихъ таинственный ликъ вѣчной и загадочной Правды.

Этическое осужденіе проститутки остается въ силѣ, даже когда фактическое осужденіе оказывается несправедливымъ.

А это случается чаще, чѣмъ люди думаютъ и замѣчаютъ.

Продажная любовъ не ограничивается предѣлами явной и опредѣленной проституціи.

Продаетъ свою любовь и себя самое всякая женщина безъ любви выходящая замужъ ради положенія, денегъ или

просто перемѣны жизни. Продаетъ свою любовь каждая женщина вышедшая замужъ по любви, но разлюбившая мужа и не расходящаяся съ нимъ.

Продаютъ себя въ сущности всѣ женщины, такъ какъ вѣковой предразсудокъ впитался въ ихъ кровь и плоть, и все общественное устройство неизбѣжно внушаетъ имъ необходимость брака и оцѣнки тѣхъ внѣшнихъ условій, классовыхъ и имущественныхъ, которымъ онѣ должны подчинять свой выборъ.

Поэтому выборъ этотъ никогда не бываетъ свободнымъ и болѣе или менѣе явно, но неизмѣнно, сопряженъ съ расчетомъ, этимъ основнымъ признакомъ продажной любви.

Проститутка и законная жена нелюбимаго мужа по существу ничѣмъ не отличаются другъ отъ друга.

Разница лишь въ томъ, что жена продаетъ себя одному, а проститутка продаетъ себя многимъ.

Но эта разница случайная.

Всякая проститутка предпочла бы отдаваться одному, если бы нашла постояннаго спутника.

Жена нелюбимаго мужа—это проститутка, которой посчастливилось найти законный выходъ и постояннаго плательщика.

Проститутка—это дѣвушка, которой не удалось стать женой.

Равно осуждая обѣихъ, мы все же должны считаться съ тѣмъ, что побудило ихъ выбрать такую долю.

Переходя отъ общей оцѣнки жизненныхъ явленій къ самой жизни, мы находимъ богатый фактическій матеріалъ, собранный терпѣливыми и безстрастными ея изслѣдователями.

Они съ возможной точностью, много разъ провѣренной, установили всѣ мотивы, толкающіе женщинъ къ продажной

любви, и строго пропорціональное отношеніе однихъ мотивовъ къ другимъ.

Главнымъ и наиболѣе частымъ является нужда. Менѣе значительнымъ—лѣнь, нежеланіе работать, жажда легкой жизни, удобствъ и роскоши. Рѣже всего встрѣчается неукротимая и пылкая чувственность.

Оставляя въ сторонѣ послѣдніе два, которые не оправдываютъ тѣхъ, кто имъ покорился, хотя до нѣкотой степени все же извиняютъ, если имѣть въ виду несправедливость общественнаго строя и его принудительныя нормы, отрицающія свободу выбора,—обратимся къ первому.

Нужда понятіе очень растяжимое.

Можно нуждаться въ кускѣ хлѣба и въ книгѣ, въ пріютѣ на ночь и въ больничной койкѣ, въ лохмотьяхъ, которыя бы покрыли наготу и въ относительно приличной одеждѣ, безъ которой нельзя поступить на мѣсто, дающее заработокъ.

Воспитаніе, привычки, образованіе создаютъ потребности, неудовлетвореніе которыхъ такъ же тягостно, какъ ощущеніе голода и холода.

Природа, создавшая человѣка, заявляетъ свои абсолютныя требованія. Но не менѣе абсолютны требованія культуры, этой второй природы созданной людьми.

Не говоря о тѣхъ, также далеко неисключительныхъ случаяхъ, когда довольствуясь своей участью для себя, человѣкъ видитъ, что не выносятъ ея, терзаются, умираютъ отъ нея близкіе ему люди.

Погубить свою жизнь ради своей правоты не то же самое, что погубить чужую жизнь, для человѣка, который вѣритъ въ свои обязанности передъ другими и въ ихъ права на него или когда просто любитъ ихъ такъ, что они ему дороже, чѣмъ онъ самъ.

Но и принужденіе, даже насиліе, здѣсь играютъ не послѣднюю роль.

Молодыхъ, неопытныхъ, безсознательныхъ дѣвушекъ—подростковъ продаютъ родители, братья, старшія сестры, чужіе люди, воспитавшіе ихъ.

И для нихъ обыкновенно уже нѣтъ возврата.

Безконечно сложны и человѣческія отношенія, и условія общественности, и потребности, и убѣжденія, и нужды, и оцѣнки людскія.

И все имѣетъ оправданіе, потому что, все, — даже заблужденія, ошибки, несправедливости, — вызывается жизнью, участвуетъ въ ней, неразрывно съ ней связано, то ускоряетъ, то замедляетъ, то уклоняетъ въ стороны, вѣчное и могучее ея теченіе, сближая берега и углубляя воды, или широко раздвигая ихъ и заполняя просторъ безграничной прозрачностью.

Все имѣетъ оправданіе, потому что все прекрасно — и заблужденія, и ошибки — эти истины, въ которыхъ мы развѣрились, но которыя все-таки вѣдь были истинами, и новыя свѣтлыя, радостныя правды, несмотря на то, что развѣрятся и въ нихъ люди и назовутъ ихъ ошибками.

И только нѣтъ оправданія лжи, единичной или общей, такъ какъ она вызывается отрицаніемъ, отвергаетъ часть жизни, какой-нибудь изъ безчисленныхъ ея ликовъ, одно изъ безчисленныхъ ея проявленій.

А люди лгутъ каждый разъ, когда, отрицая то, что есть, притворяются, что измѣнили или отмѣнили существующее, которымъ не перестаютъ жить, которое не перестаетъ существовать, и поворачиваются къ нему спиной, чтобы только его не видѣть, и затыкаютъ уши, чтобы его не слышать, и точно салонные франты, нехотя, съ напускной брезгливостью и намѣренной презрительностью, выступаютъ въ веселомъ,

шумномъ, безпорядочномъ и все же согласномъ, искреннемъ и увлекательно-прекрасномъ хороводѣ празднично настроенныхъ деревенскихъ дѣвокъ и парней.

Нѣтъ оправданія лжи, съужающей жизнь, сковывающей людей, и уподобляющей ихъ стреноженнымъ лошадямъ, какъ будто свободнымъ, но лишеннымъ возможности использовать свою силу и окружающій ихъ просторъ.

Нѣтъ возврата и спасенія падшимъ, не потому, что они однажды пали, а вслѣдствіе чужого осужденія, тяжелымъ камнемъ придавившаго ихъ къ землѣ, и не дающаго подняться.

И если не слѣдуетъ сопоставлять „Воскресеніе“ Толстого и „Даму съ камеліями“ Дюма, то нельзя не сближать „Крейцерову Сонату“ и „Жену Клавдія“.

Отъ оправданія убійства, совершеннаго въ порывѣ дикой, хотя и основанной на неоспоримыхъ фактахъ, ревности, не далеко до безжалостнаго и отвратительнаго совѣта: „tue-la“.

Толстой не оправдываетъ, но и не осуждаетъ проститутки; не извиняетъ, но и не осуждаетъ невѣрной жены.

Дюма рисуетъ симпатичную проститутку и провозглашаетъ право мести за обманутымъ мужемъ.

Оба правы, и оба неправы, смотря по тому, какъ разсматривать каждый вопросъ: независимо отъ всѣхъ прочихъ, съ нимъ связанныхъ, или въ общей связи и въ соотвѣтствіи съ ними.

Самая общая и главная ошибка человѣческая въ томъ, что люди, отрицая или просто отвергая отвлеченныя, идейныя нормы, когда нужно безпристрастно освѣтить и осмыслить жизнь, неизмѣнно прибѣгаютъ къ нимъ и пользуются ими, какъ основами и предпосылками для своихъ осужденій.

Такъ поступили и вы, осудивъ проститутку, въ порывѣ бурной ревности совершившей убійство; осудивъ потому, что

считали ее падшей, отверженной, презрѣнной и какъ бы лишенной права утверждать свою личность въ чемъ бы то ни было.

Вы — не исключеніе, а общее правило. И потому вашъ примѣръ кажется мнѣ такимъ знаменательнымъ и значительнымъ.

Вы, какъ всѣ, не умѣете охватывать жизнь въ ея цѣломъ, въ ея полнотѣ и шири и стройной гармоніи, дробите ее и, дробя, забываете о томъ, что дробите, и что объективная цѣльность жизни отъ этого не нарушается, какъ единица остается единицей, хотя бы вы разбили ее на тысячу дробей.

Но субъективная цѣльность жизни, ваша мысль о ней, ваше отношеніе къ ней, конечно, раздроблены, и единый, все связующій, со всѣмъ связанный, опытъ становится для васъ сложнымъ и запутаннымъ лабиринтомъ противорѣчивыхъ, случайныхъ, ни отъ чего не идущихъ, никуда не ведущихъ, мгновенныхъ переживаній.

Вотъ, вы осудили чужую вамъ, неинтересную, презрѣнную женщину. Она убила — и убйства нельзя оправдать по существу, нигдѣ, никогда, ни при какихъ условіяхъ, — а вы оправдали убійство, совершенное другимъ.

Она ревновала безумно, дико, слѣпо, безсмысленно, до забвенія всего человѣческаго въ себѣ самой, до забвенія собственной любви, вызвавшей эту ревность; и ревность по существу нельзя оправдать, — а вы оправдали ее въ другомъ.

Она была проституткой, продавала свое тѣло и свои ласки, играла уродливую и лживую комедію любви, комедію, переходящую въ пародію или каррикатуру и выдающую себя не за изображеніе любви, а за самое любовь — и проституцію вообще, а тѣмъ менѣе продажную любовь нельзя по существу оправдать никакими доводами и соображеніями, ни при какихъ условіяхъ, и каковы бы ни были ея мотивы и цѣль; а вы оправдали сестру.

Оправдали тѣмъ, что не измѣнились къ ней, не перестали ни уважать, ни любить до самой ея смерти и, можетъ быть, и теперь уважаете и любите воспоминаніе о ней и ревниво и благоговѣйно охраняете въ себѣ ея память.

Я даже увѣренъ, что вы съ острой и злобной враждебностью прочтете этотъ комментарій къ вашему роману и горько упрекнете меня за то, что я такъ откровенно и правдиво говорилъ о женщинѣ, любимой вами.

Я ее любилъ по иному, но не меньше васъ. И хотя вы можете мнѣ отвѣтить, какъ Гамлетъ отвѣтилъ брату Офеліи: „Я ее любилъ, какъ сорокъ тысячъ братьевъ любить не

могутъ", но вѣдь могу же и я возразить вамъ: „я ее любилъ, какъ сорокъ тысячъ любовниковъ любить не могутъ".

Всѣ эти утвержденія въ своей напыщенности и раздутости только похожи на лягушку извѣстной басни.

Если бы ей даже удалось раздуться до размѣровъ вола, то воломъ она отъ этого все таки не стала бы, а развѣ что исключительнымъ уродомъ, который, конечно, вызывалъ бы любопытство и удивленіе толпы, но никого ни въ чемъ не убѣдилъ бы.

Не убѣдилъ бы даже въ простой и плоской морали, которая основана на томъ, что лягушка отъ непомѣрныхъ усилій лопнула.

Пожалуй, ужъ лучше было бы лопнуть, какъ мыльнымъ пузырямъ, и напыщеннымъ гиперболамъ, которыя, подобно лягушкѣ, воломъ стать все равно не могутъ, а лопнувъ, по крайней мѣрѣ утвердили бы простую, житейскую, плоскую и пошлую, а потому всѣмъ угодную мораль.

Я любилъ и люблю сестру не меньше васъ.

Но это безразлично.

Я видѣлъ ясно и качества ея и недостатки и любилъ въ ней и тѣ и другіе.

Если вы закрывали глаза на недостатки, и убѣждали себя, что видите одни качества и только за нихъ ее любите, то вы любили не сестру, а эти качества, которыя могли бы любить и въ другихъ.

Ни въ жизни, ни въ людяхъ я не ищу совершенства и люблю несовершенную жизнь и несовершенныхъ людей, и не обманываю ни себя, ни своей любви.

И сестру не осуждаю ни за что: ни за ея заблужденія, общія всѣмъ людямъ, ни за ошибки и проступки, которыхъ многіе сумѣли бы избѣжать, ни за послѣднее ея паденіе, неизбѣжное для большинства.

Вы не осудили его потому, что не сумѣли и не хотѣли его признать. И не признаете теперь, чтобы не осудить. Но, не признавая его, не осудите ли себя за свой приговоръ проституткѣ?

А если признаете, то не принуждены ли будете допустить, что между личностью, т.-е. истиннымъ существомъ падшей женщины, и ея паденіемъ лежитъ глубокая и таинственная бездна, отъ края до края которой не достаетъ короткая плеть осужденія и не доходитъ блѣдный и тусклый свѣтъ фонаря, грубыми стеклами оберегающаго отъ мощнаго дыханія справедливости робкое и злое пламя житейской морали, обхватившее и пожирающее тонкую свѣчу Правосудія?

Можетъ быть не сумѣлъ я васъ убѣдить.

Можетъ быть не стоило мнѣ воскрешать этой давней исторіи, которую, какъ засохшій и все же прекрасный цвѣтокъ, я неожиданно охватилъ и опуталъ легкой паутиной безконечныхъ разсужденій.

Но цвѣтокъ и въ плѣну тонкихъ нитей останется цвѣткомъ, и сквозь мелкую сѣть паутины свободно проходятъ яркіе лучи Божьяго свѣта.

Такъ я утѣшаю и себя и васъ.

То, что я вамъ высказалъ теперь, я смутно ощущалъ и думалъ уже давно, съ того самаго дня, когда надъ свѣжей могилой сѣрымъ, но мягкимъ, осеннимъ утромъ мы безмолвно стояли втроемъ: вы, мужъ и я.

Смерть таинственно сближала живыхъ, и та, которой уже не было, связывала тѣхъ, кто былъ, своимъ отсутствіемъ, какъ выбывшій изъ строя солдатъ заставляетъ раздѣленныхъ имъ сосѣдей сдвинуться и сомкнуться.

Противорѣчивыя чувства и мысли мягко и тихо колебали мое сознаніе, отдававшееся имъ, точно тѣло прихотливымъ волнамъ, и странные образы рождались въ полутьмѣ печальныхъ раздумій.

Пугала и дразнила, выскользая изъ цѣпкихъ объятій познанія, вѣчность, и было такъ ясно и близко понятіе конца, и нельзя было его признать, принять и съ нимъ примириться.

Предъ лицомъ загадочной и неотвратимой смерти овладѣвала мною томительная нерѣшительность, и въ безпочвенной шаткости вѣры, отвергшей всѣ вѣроученія, и рели-

гіознаго чувства, отринувшаго всѣ религіи, странно переплетались и сочетались обрывки разныхъ ученій и различныя представленія о различныхъ богахъ.

Надъ могилой, гдѣ покоилось безжизненное тѣло сестры, воображалъ я ее такой, какой зналъ и видѣлъ при жизни, и все же иной, живой не по здѣшнему, но въ образѣ прежнемъ, знакомомъ и близкомъ.

Легкая, какъ тѣнь, уходила она въ даль, безконечно далекая, но не исчезающая, и двѣ свѣтлыя женскія тѣни, непохожія одна на другую, но чѣмъ-то родственно связанныя, тихо и плавно приближались къ ней.

И шла она отъ земли, чуждая ей, и не приближались тѣ къ землѣ, но не были ей чужды.

Одна изъ нихъ была высока и стройна, бѣлая и величественная, какъ мраморная статуя, прекрасная, какъ самая прекрасная изъ женщинъ.

И была другая воплощеніемъ просвѣтленной скорби и нѣжной благости и тихой лаской свѣтились ея очи и, увидѣвъ ихъ, нельзя было думать ни о чемъ другомъ, ни замѣтить ея облика и колеблющихся очертаній ея тѣла.

Остановилась передъ ними сестра и чѣмъ-то смущенная склонилась на колѣни и простерла къ нимъ руки.

Лишь ей и тѣмъ двумъ былъ понятенъ безмолвный разговоръ, и все строже становилось прекрасное лицо первой и все печальнѣе и нѣжнѣе свѣтились очи второй.

Была несказанная красота и неизъяснимая трагичность въ нѣмой, далекой и нездѣшне-отчетливой сценѣ, и замирало сердце, смутнымъ предчувствіемъ угадывая, что рѣшается и рѣшится между женщиной, склоненной на колѣни, и двумя другими, такими различными и все же непонятно близкими.

Все строже становилось прекрасное лицо одной, все печальнѣе и нѣжнѣе свѣтились очи другой.

И вдругъ, точно все было сказано и рѣшено, еще ниже

склонилась сестра и съ грознымъ жестомъ осужденія подняла надъ ней бѣлую, какъ-будто въ мраморѣ изваянную руку, первая изъ двухъ.

Но въ тотъ же мигъ наклонилась надъ колѣнопреклоненной другая и по-матерински ласково и бережно притянула ее къ себѣ и приняла въ свои объятья.

И сразу все исчезло, потонуло безслѣдно, какъ марево въ зеркальной прозрачности воздушныхъ струй.

Мы стояли втроемъ надъ свѣжей могилой сестры сѣрымъ, но мягкимъ осеннимъ утромъ, окруженные тишиной и собственнымъ молчаніемъ.

Все было, какъ обычно бываетъ и должно быть, просто и понятно, въ своей неизмѣнной таинственности.

Подъ черной, рыхлой землей покоилось безжизненное тѣло сестры и никогда больше не могли и не должны были мы ее увидѣть.

То, что мнѣ привидѣлось, было прихотливой игрой воображенія, которая казалась мнѣ безсмысленной въ своемъ очевидномъ несоотвѣтствіи съ опредѣленной, отчетливой и рѣзко-ощущавшейся дѣйствительностью.

И только много времени спустя понялъ я, какое тайное сплетеніе несознанныхъ мыслей образно повѣдало встревоженной душѣ свои слишкомъ тонкіе и неуловимые для словъ намеки.

Я не могъ бы и теперь выразить ихъ въ ясной мысли для себя, въ точныхъ словахъ для другого, и не знаю той далекой и разрѣшающей правды, которую чувствую или предчувствую, или вспоминаю, и все же не въ силахъ запечатлѣть въ сознаніи.

Но правда эта приближается ко мнѣ, обдаетъ меня трепетомъ своей тайны каждый разъ, когда я вспоминаю двухъ свѣтлыхъ женщинъ, подвигавшихся навстрѣчу сестрѣ; каждый разъ, когда я узнаю—вспоминая ихъ несходство и таинственную связь,—прекрасную, стройную и бѣлую, какъ

мраморное изваяніе, Афродиту—Анадіомену, и нѣжную, печальную и благостную Марію, Мать Христа.

Все снова и снова я переживаю напряженную красоту небывалой встрѣчи и вижу строгій обликъ богини любви и страсти, и суровый жестъ осужденія, съ которымъ отвергла сестру, любившую и сгоравшую отъ чувственнаго влеченія, та, которой чистыя дѣвы приносили въ жертву свое дѣвство и служили женщины, отдавая свое тѣло и расточая искусныя ласки случайнымъ гостямъ.

И вижу нѣжную благость прощенія и просвѣтленную печаль Мадонны, склонившейся надъ падшей и принявшей ее въ Свои объятія, въ которыхъ когда-то покоился Сынъ Человѣческій, непорочный и чистый, какъ Она...

Я твердо и точно знаю, что не было этой встрѣчи и не могло быть.

Но такъ же твердо и непоколебимо знаю я, что не лгало мое воображеніе и не лжетъ смутное прозрѣніе, угадывающее во мракѣ непроницаемой тайны невидимый, но свѣтлый ликъ Правды, двояко отраженный во вселенной и въ моей душѣ.

КОНЕЦЪ.

КОНТОРА О. И. БУНИМОВ
ВИЛЬНА

DUKE UNIVERSITY LIBRARIES
Na viesakh spravedlivosti.
891.73 R136N
D9035488 5%